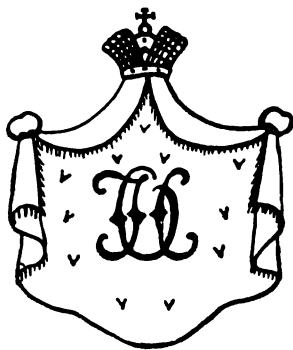




# СОН ЮНОСТИ

ЗАПИСКИ ДОЧЕРИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I  
ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ,  
КОРОЛЕВЫ ВЮРТЕМБЕРГСКОЙ

Париж  
1963 г.



# СОН ЮНОСТИ

**ЗАПИСКИ ДОЧЕРИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I  
ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ,  
КОРОЛЕВЫ ВЮРТЕМБЕРГСКОЙ**

**Париж  
1963 г.**

**Военно-Историческая Библиотека № 7**



**Книга отпечатана в Париже в количестве пятисот экземпляров, из коих пятьдесят нумерованных от № 1 до № 50.**

Воспоминания Королевы Ольги Николаевны, обнаруженные которых она запретила до истечения полувека со дня ее кончины, находятся, во французском оригинале, во владении Принца Альбрехта Шаумбург-Липпе. Посвящены они его матери и ее сестре, дочерям Великой Княгини Веры Константиновны, Герцогини Вюртембергской. Русский перевод сделан Баронессой Марией Бурхардовой Беннинггаузен-Будберг, с благосклонного разрешения Принца, с немецкого перевода книги, изданной в 1955 году, в Издательстве Гюнтера Нескэ, Пфуллинген Вюртемберг.

Великая Княжна Ольга Николаевна, третья из семи детей Императора Николая 1-го и его супруги Императрицы Александры Феодоровны, дочери Короля Фридриха-Вильгельма III и Королевы Луизы Прусских, родилась 30-го августа 1822 года в С. Петербурге, вышла в 1846 году замуж за Вюртембергского Кронпринца, впоследствии Короля Карла, и умерла, уважаемая и любимая всем вюртембергским народом, в 1892 году, в своем замке Фридрихсхафен.

**ПОСВЯЩАЕТСЯ МОИМ ГОРЯЧО-ЛЮБИМЫМ  
ВНУЧАТНЫМ ПЛЕМЯННИЦАМ**

**Принцессам Эльзе и Ольге Вюртембергским.**

**Дорогие дети! Возможно, что в один прекрасный день, когда вы подрастаете, вы захотите узнать, какова была юность вашей бабушки, в далекой стране, которая является также и родиной вашей матери. Возможно, что тогда уже не будет в живых никого из тех, кто жил вместе со мной, никого для того, чтобы рассказать вам об этом.**

**Я постараюсь собрать свои воспоминания в одно целое, чтобы вы узнали, какой счастливой была моя юность, под кровом отцовской любви.**

**Мое желание — вызвать в ваших сердцах любовь и почитание к памяти наших родителей, которых мы не перестанем любить и благословлять до нашего смертного часа. Им мы обязаны жизнью в драгоценном семейном союзе, который представляет собою единственное счастье на земле. Сохраните мой рассказ о нем неискаженным, чтобы отсвет этого тепла согревал вас всю жизнь!**

**Этого желает вам ваша старая**

**бабушка      О л ь г а .**

**Штуттгарт**

**Начато в январе 1881 года.**

**Закончено 18 января 1883 года.**

## 1822 — 1830

30-го августа 1822 года у Мама родилась девочка, которую назвали Ольгой. Пушечный салют, возвещавший стране о моем рождении, смешивался со звоном колоколов по случаю празднования дня памяти Св. Благоверного Князя Александра Невского.

Мое появление было таким неожиданным, что бабушка (Императрица Мария Феодоровна) срочно вызванная из Таврического Дворца, нашла меня уже лежащей в постельке моего брата Александра, так как не было даже времени приготовить мне колыбель и пеленки. Я родилась третьей и увидела свет в Аничковом Дворце в С. Петербурге. До меня родились: Александр в Москве в день Св. Пасхи 17 апреля 1818 года, и Мэри, родившаяся в Павловске в день Преображения Господня.

Во время моего появления на свет, Император Александр 1-й был на Конгрессе в Вероне, последнем в своем роде, на котором Монархи и министры сошлись вместе, чтобы обсудить европейские вопросы. По своем возвращении, Государь привез мне, как подарок к крестинам, бокал из зеленой эмали и такую же чашу, которые я храню до сих пор. Когда он снова увидел Мама, во всей прелести ее юности, с ребенком на руках подле отца, смотревшего на нее с гордостью и любовью, бездетный Государь был необыкновенно тронут и сказал: «Было бы ужасно и непростительно, если когда либо в жизни, кто из вас разочарует другого. Верьте мне, существует только одно истинное счастье — семья. Берегите ее священный огонь».

Императора я помню совсем смутно. Родители мои его обожали, отец всегда называл его своим Благотелем. Он часто приходил к нам отдыхать от государ-

ственных забот и хорошо себя чувствовал в нашем тесном кругу, в котором все, благодаря Мама, дышало миром и счастьем сплоченной семейной жизни, так болезненно недостававшей ему. Государыня, бездетная и тяжело больная, уже долгое время не разделяла своей жизни с Императором.

Я не осталась последним ребенком у родителей. Мне не было еще и года, как Мама снова ждала ребенка. В том, 1823, году вводилась в Гатчине в общество Великая Княгиня Елена Павловна, в то время принцесса Вюртембергская — невеста Великого Князя Михаила Павловича. Мама, на девятом месяце ожидания, была так взволнована предстоящим дебютом, вероятно, вспоминая себя саму десять лет назад, что стала нервно плакать. Золотой пояс усеянный камнями, бывший в тот день на ней, не успели достаточно быстро распустить и он причинил ей сильное ущемление. В ту же ночь она разрешилась мертвым сыном и тяжело захворала. Как только ее можно было перевезти в город, отец пообещал ей, чтобы несколько ее подбодрить, поездку в родной Берлин. В июле родители отправились в Доберан в Мекленбурге, чтобы полечиться укрепляющими ваннами, а осенью проехали оттуда в Берлин. Там в то время принц Антон Радзивилл устраивал свой знаменитый маскарад «Лолла Роок», о котором потом еще долго Шадоф и художники Берлина говорили, как о верхе светского блеска и хорошего вкуса.

Новая беременность Мама положила конец этим развлечениям и, не взирая на просьбы короля Фридриха - Вильгельма III, своего отца, Мама с Папа возвратились домой в Россию, так как предпочитали свой собственный дом каждому другому.

12-го июня 1825 года родилась всеми любимая наша сестра Адини (Александра), наш луч солнца, который Господь дал нам и которую Ему было угодно так рано опять забрать к Себе! Но об этом речь будет позднее. Адини родилась в Царском Селе, где Государь ралвшно предоставил в распоряжение моих родителей свой дворец. Там же происходили последние разговоры с Императором, в которых им впервые было упомянуто слово «отречение». В августе он отбыл в Таганрог, куда уже

раньше проследовала Государыня. После заблуждений юности, их души снова сошлись в молчаливом прощении в часы тем более знаменательные, что Государыня Елизавета Алексеевна знала, что ее дни сочтены. Ничего не подозревал тогда, что Государю суждено умереть до нее и что из этой поездки он уже не вернется. Об этой неожиданной смерти, унесшей его так скоро, поползли всевозможные слухи, например, что он будто бы был отравлен. Они были неправдоподобны, но внутриполитическое напряжение в этот момент помогло им зародиться. — То сильное влияние, которое Государь приобрел в Европе, после крушения Наполеона, он использовал вначале в либеральном направлении и носился с мыслью уничтожить крепостное право в своей стране. Но под впечатлением обнаружения революционных тайных союзов, он все больше и больше склонялся к политике Меттерниха и отказался от всех своих планов реформы. Насколько обосновано было его настроение, доказывает бунт Декабристов вскоре после его смерти.

Подготовленный тайными союзами молодых гвардейских офицеров, будто бы заступавшихся за права на трон Великого Князя Константина Павловича (отрешенного в пользу брата), этот бунт не преследовал ничего иного, как введение конституции. Заговор был тотчас же подавлен, пять предводителей казнены, а остальные участники сосланы в Сибирь. Это было мрачным началом для вступления на трон моего отца.

Как известно, у Императора Александра I-го не было сына. Во время его царствования, Наследником считался второй сын Императора Павла I-го, Константин Павлович. Последний был короткое время женат на Великой Княгине Анне Феодоровне, ур. принцессе Саксен-Кобург, не жил с ней с 1801 года и разведен в 1820 году. Он женился морганатически в 1820 году на польской графине Грудзинской, которой Государь даровал титул княгини Лович. Из любви к ней, Константин Павлович отказался от престолонаследия, которое таким образом перешло к третьему сыну Императора Павла I-го, Николаю Павловичу.

Обстоятельства бунта Декабристов 14-го декабря



1825 года слишком известны, чтобы передавать их подробно, тем более, что я хочу рассказывать только о том, что сама помню. На меня произвели глубокое впечатление въезд траурной колесницы с телом Государя, траурные наряды, формы, скрывающиеся за черными покрывалами. Все это поразило меня гораздо сильнее, чем беспокойство и горе людей. Длинное шествие, знамена, делегации, масса школьников, герольды в средневековых одеяниях, мрачная роскошь, поразили мое детское воображение и эти картины перемешались с грустью последующих дней.

Четырнадцатого декабря мы покинули Аничков Дворец, чтобы переехать в Зимний, входы которого можно было лучше защищать, в случае опасности. Я вспоминаю, что в тот день мы остались без еды, вспоминаю озадаченные лица людей, празднично одетых, наполнявших коридоры, бабушку, с сильно покрасневшими щеками. Для нас устроили наспех ночлег: Мэри и мне у Мама на стульях. Ночью Папа на мгновение вошел к нам, заключил Мама в свои объятья и разговаривал с ней взволнованным и хриплым голосом. Он был необычайно бледен. Вокруг меня шептали: «пришел Император, достойный Трона». Я чувствовала, что произошло что-то значительное и, с почтением, смотрела на отца. В течение этой зимы, нас два раза в день, водили через длинные коридоры в покои, которые занимали наши родители в Эрмитаже. Мы видели их только немногие, короткие мгновения. Затем нас опять уводили. Это было время допросов. С одной стороны приводили арестованных, с другой приезжали послы и Высочайшие особы, чтобы выразить соболезнование и принести свои поздравления. Мы же, бедные, маленькие, очень страдали оттого, что были так неожиданно удалены от жизни родителей, с которыми, до того, разделяли ее ежедневно. Это было как-бы предвкушение тех жертв, которые накладываются жизнью на тех, что стоят на высоком посту служения своему народу.

В августе 1826 года, нас отправили в Москву с адъютантом Василием Перовским. Поездка продолжалась

девять дней. Мне было в то время четыре года и впечатление от нее осталось самое пестрое.

Шоссе не существовали, только одни проселочные дороги с брусьями с правой стороны, воткнутыми просто в песок. Так мы тогда путешествовали! В Новгороде, я впервые видела женский монастырь. Игуменья Шишкина была восприемницей Мама во время ее перехода в нашу веру. В Торжке пользовалась заслуженной славой, благодаря своим, действительно превосходным, котлетам, некто м-ль Пожарская. В Вышнем Волочке мы проехали каналом и осматривали шлюзы. В Твери мы с почтением посетили дворец, где жила Великая Княгиня Екатерина Павловна и где Карамзин читал ей свои первые труды по истории России. Там же мы видели комнату, в которой в 1802 году умер принц Георгий Ольденбургский, ее муж, жертва своих неустанных посещений госпиталей. — Наконец Москва — Кремль! Мое сердце билось. Пожар 1812 года, героическая борьба наших храбрецов, как близко было еще все это! Тогда я впервые и еще неясно, ощутила, что значит Россия — Отечество...

Я была еще слишком мала для того, чтобы присутствовать на Коронации родителей в соборе и могла видеть только отблеск пышного торжества в Грановитой Палате, где Их Величества сидели на Тронах и обслуживались высшими сановниками, в то время, как остальные гости и члены Дипломатического Корпуса стояли, и, принеся свои поздравления, пилились с бокалами шампанского в руках. Вокруг нас — восточные одеяния, необычайные женщины: татарки, черкешенки, жительницы Киргизских степей. Все это было ново и непривычно. Восток, малоизвестный, его люди и обычаи как из страны чудес, все это привлекало любопытство чужеземцев и создавало вокруг древнего города, с его золотыми куполами и причудливыми башенками, блестящий ореол.

Недели пролетели в празднествах и развлечениях. Мама, принужденная беречься из за своего хрупкого здоровья, приняла любезное приглашение графини Орловой-Чесменской на ее дачу в пригороде Москвы. Там дышалось привольным дерезенским воздухом, там

можно было свободно бегать по саду, без того, чтобы собиралась толпа и приветствовала нас криками «ура!».

В сентябре в день Св. Елизаветы, в день полкового праздника Кавалергардов Мама впервые, как Шеф этого полка, принимала парад. Она была и польщена и сконфужена, когда Папа скомандовал «на-краул!» и полк перед ней продефилировал. Это было и неожиданно и ново. Папа умел придать нужную раму вниманию общественности по отношению своей супруги, которую он обожал. Музыка играла марш из «Белой Дамы», в то время модной оперы, и этот марш стал, в память этого события, полковым маршем.

Следующей осенью, 9-го сентября 1827 года, родился Константин, второй, долгожданный сын. Он родился уже как сын Императора, в то время как мы, старшие, родились еще детьми невенчанного на Царство отца. К крестинам нас завели в локоны, надели платье-декольте, белые туфли и Екатерининскую ленту, через плечо. Мы находили себя очень эффектными и внушающими уважение. Но — о, разочарование! — когда Папа увидел нас издали, он воскликнул: «Что за обезьяны! Сейчас же снять ленты и прочие украшения!» Мы были очень опечалены. По просьбе Мама, нам оставили только нитки жемчуга. Сознаться? В глубине своего сердца я была согласна с отцом. Уже тогда я поняла его желание, чтобы мы просто воспитывались, и это ему я обязана своим вкусом и привычками на всю жизнь. Одеваться было мне всегда скучно. Мама или гувернантки заботились вместо меня об этом, и только будучи замужем, чтобы понравиться моему мужу, я научилась украшаться, и то только оттого, что мне было приятным, если Карл находил меня красивой и хорошо одетой.

После смерти Государыни Елизаветы Алексеевны, супруги Императора Александра I-го, Мама стала во главе всех отечественных женских Институтов. В то время, как строился один из домов для этого назначения, детей поместили в Александровском Дворце в Царском Селе. Мы часто ходили туда и играли и танцевали на газонах с девочками. Нам сшили форменные платья, какие носили они, коричневые камлотовые с

пелеринками, передниками и нарукавниками из белого перкаля, нас поставили между ними по росту. Бабушка, которую мы хотели этим удивить, уверяла, что она нас не узнала, подняла меня за подбородок и спросила, как моя фамилия. — Начальница, г-жа фон Вистинггаузен, немного сгорбленная, с нежными чертами лица и выражением печали и страданий, завоевала наши сердца. Дочь, оставшаяся ей после четырех схороненных детей, выглядела, как все больные и слабогрудые, прозрачной. Мама послала ей своего врача, ослиное молоко, и оказывала ей всевозможное внимание. Но все было тщетным: она угасла некоторое время спустя. Мать пережила ее, еще больше согбенная и еще больше покорная, добрый гений дома.

В 1828 году была объявлена война с Турцией. Папа последовал за войсками на Юг, Мама переселилась в Одессу, чтобы быть поближе к нему. Она взяла с собой только Мэри (В. Кн. Марию Николаевну). Мы, четыре остальных, а также кузены Николай и Михаил оставались в Павловске под крылышком Государыни-Матери. Дядя Михаил Павлович, брат отца, был также в Армии, а тетя, со старшей дочерью, в Италии. Бабушка приходила уже с утра, со своей гобелэновой вышивкой, в маленький деревянный дворец, садилась в детской и принимала там доклады, в то время, как мы вовсю резвились. Она изучала наши склонности и способности; Адини (В. Кн. Александра Николаевна), проказница и ласковая, была «le bijou», кузина Лилли — очень прямая, немного вспылчивая и похожая на мальчишка, звалась ею «честный человек», я — скорее сдержанная и застенчивая, получила от нее прозвище «хорошая и спокойная Олли, в один прекрасный день Председательница доброго Совета для Семьи». Я вспоминаю себя неразговорчивой, не слишком живой и резвой, но, невзирая на это, мои младшие сестры и братья меня любили. Мне постоянно приходилось быть судьей, когда они ссорились и, без лишних слов, мне всегда удавалось восстановить мир. Любимцем между на-

ми был, несомненно, наш Саша, «L'Angelo sympathico» отца, как называла его бабушка.

Она была очень деятельной. Каждую неделю ездила в С.-Петербург, чтобы навещать Институты и госпитали, отдыхала немного в Смольном у старушки Адлерберг, своей лучшей подруги после Княгини Ливен. Если приходила хорошая весть с театра военных действий, бабушка заказывала обедню в Казанском соборе и ехала туда в золоченой колеснице, сопровождаемая своим маленьким Сашей в гусарской форме. Никогда не забывала она привезти нам с собой гостинец. У меня до сих пор хранится привезенный ею браслет с камеей, изображающей отца.

С некоторых пор, я перешла из ведения английской няни на попечение гувернантки Шарлотты Дункер, шведского происхождения и протестантского вероисповедания. Она не знала иной родины, как шведский монастырь в С.-Петербурге, в котором она девять лет была ученицей и девять лет учительницей. Образованная и строгая, она внушала мне уважение к работе. В пять лет я могла читать и писать на трех языках. Что же касается музыки, то тут ее строгость не повлияла на успехи. Тетя Мария Павловна Веймарская (сестра Папа), которая присутствовала на уроке, посоветовала оставить рояль: «У нее нет способностей», сказала она. Я была необычайно горда доказать ей в 1842 году противоположное, когда уже играла наизусть что от меня требовалось и аккомпанировала графине Россэ и Паулине Зоннтаг, когда они пели.

Моя кузина Августа Веймарская (теперь Императрица Германская) провела это лето 1828 года, совместно со своей матерью, в России; ей было только шестнадцать лет, но она уже появлялась в обществе, хорошенькая девочка с ямочками, скорее пикантная, чем красивая. В Петербурге предпочитали красоту ее сестры Марии. Но Бабушка и некоторые господа придворные нашли, что у Августы есть уж и оригинальные идеи, несмотря на воспитание маленького немецкого Двора, которое своей узкостью сковывало даже повседневные разговоры и не допускало ни малейшего послабления этикета. В один прекрасный день, когда

она была уже Императрицей (Супругой Императора Вильгельма I-го), она рассказывала мне, скольких трудов ей стоило быть естественной при ее странном воспитании.

В октябре захворала Бабушка. Заботы об обоих сыновьях в действующей армии подорвали ее здоровье. Взятие крепости Варна затянулось, когда же наконец произошло ее падение — это было ее последней радостью. Она, не знавшая в течение 69 лет ни усталости, ни нервов, стала жаловаться на усталость. Ее старший врач, доктор Рюель, только качал головой. Папа, извещенный об этой необычайной слабости, точно предчувствуя грядущую катастрофу, поспешил из Одессы, чтобы присутствовать при дне ее рождения, 14-м октября. Мы были у обеда в маленькой часовне Зимнего дворца, когда раздался его голос в передней. Мы бросились ему навстречу, Мама за нами, через несколько минут мы все вместе опустились на колени вокруг кресла больной. «Николай, Николай, неужели это ты?» воскликнула Государыня, схватила его руки и притянула его к себе на колени. Никто не знает, почему и когда картины сплоченной семейной жизни запечатлеваются в детском сердце, когда они снова встают и захватывают его. Подробности этого кажутся незначительными, но как они сильны и негасимы! Таким осталась в моем сердце эта картина: Папа на коленях своей матери, старающийся сделать себя маленьким и невесомым.

Десять дней позднее, 24 октября 1828 года, Государыня-Мать скончалась в Зимнем Дворце. Обширность ее сердца превышала ее остальные качества. Добродетельная, при Дворе, который разрешал все, верная супругу, который жил своей собственной жизнью, как мать, окруженная уважением и подчинением, она, как Монархиня, старалась дать и сделать лучшее. С необычайной прозорливостью, например, привела она в порядок управление финансами России и она была той, которая создала в России первую Ссудную Казну, дававшую гарантии. Чтобы пробудить доверие широкой публики, она поместила туда свое и своих детей состояние.

После ее кончины, Мама в тридцать лет стала во главе управления, которое помимо женских и воспитательных учреждений, обнимало еще и промышленные предприятия, в свою очередь служившие капиталом для содержания приютов. Мама писала Софии Бобринской: «...Мысль о том, что я должна заменить нашу любимую матушку, такую энергичную и деятельную, давит меня: я, такая слабая, так мало созданная для того, чтобы повелевать». Мама была совершенно иной, сравнивать их обоих было невозможно. В то время, как одна была повелительницей, другая брала простотой и своею прелестью и скромностью. Казалось что Мама говорила: что мы будем делать без Государыни-Матери! Помогите мне! И каждый был готов сейчас-же оказать ей всяческое содействие.

В 1829-30 гг. мои родители жили в Варшаве, из-за предстоявших там торжеств коронавания и открытия Сейма. Саша сопровождал родителей в Варшаву, а потом в Берлин, где он был представлен своему деду Королю Фридриху-Вильгельму III.

Мы оставались в Царском Селе, под надзором княгини Волконской, незначительной и очень некрасивой женщины, и князя Александра Голицына, старого семейного друга и бывшего пажы Императрицы Екатерины Великой. Его благодарная память сохранила все картины той эпохи, он был неистощимый рассказчик анекдотов, умел их хорошо рассказать и мы не уставали его слушать. Я искренне сожалею, что никто в нашем окружении не догадался записать его рассказы. Это были бы прекрасные комментарии к эпохе Великой Императрицы.

Обедали мы всегда вместе. Маленького роста, в сером фраке, с палкой в руках и флаконом венгерского вина в кармане, появлялся он каждый вторник у моих Родителей. Он любил все розовое, женщин в ожидании и табакерки, которые он собирал. Его салоны были увешаны портретами из времен Петра Великого и Екатерины II-й. В его доме была часовня, освещавшаяся через купол из желтого стекла, что всегда придавало ей вид залитой солнцем. Он жил уединенно, вдали от света, всегда был озабочен своим здоровьем и окружил



**Государь Император Николай I.**





себя кругом друзей, разделявших его мистически-религиозные склонности. Подобные настроения разделялись с ним и Императором Александром I-м, бывшим под сильным влиянием знаменитой баронессы Крюденер. Князь Голицын просил своих друзей честно сказать ему на старости, когда его ум начнет слабеть, для того, чтобы во время от всех удалиться. Впоследствии я часто слышала повторение другими этой просьбы, но как то никто не считался с намерением ее действительно выполнить, князь-же Голицын, по собственному побуждению, во время удалился от света. У него было поместье в Крыму и там он закончил свое земное существование. Ему грозила слепота, но, с христианским смирением, выдержал он операцию катаракта и благодарил от всего сердца Господа, когда снова смог увидеть свои горы, море и колодцы, расположенные крестообразно. Его последние годы были заполнены добрыми делами и чтением духовных книг.

Но возвратимся опять к нашему детскому столу, за которым он бывал ежедневно, пока родители были в отсутствии. Моя сестра Адини приветствовала его, она изображала роль хозяйки, принимавшей гостей, и оживленно болтала с ним. Ей и мне он подарил альбом с литографиями и подписался под посвящением «Prince aux Tabatières». Он вел дневник о нас, который еженедельно посылался Папа. Тот отвечал со следующим фельдегерем, письмами, на краях того же листа. Я не знаю, сохранились ли эти письма; они были снабжены рисунками и полны шуток.

В июле 1824 года воспитателем Саши был назначен Карл Карлович Мердер. Он был прирожденный педагог, тактичный и внимательный. Правилом его работы было развить хорошие черты ребенка и сделать из него честного человека. И этому правилу он оставался верен, совершенно независимо от того, был ли его воспитанник простым смертным, или Великим Князем. Таким образом он завоевал любовь и доверие ребенка. Никакой дрессировки, он не подлаживался под отца, не докучал матери, он просто принадлежал к Семье: действительно драгоценный человек! Никто из тех, кто окружал нас, не мог с ним сравниться. Судь-

бе было угодно, чтобы он не дожил до совершеннолетия Саши. Он умер в Риме в 1834 году.

Карл Карлович очень любил меня, маленькую и застенчивую. Он точно оценил искренность моих побуждений и взглядов. «Что она говорит, то она и делает; человек слова». Это определение принесло мне счастье.

Что же касается Жуковского (крупнейшего русского поэта), Сашинного второго воспитателя, то этот был совершенно иным: прекрасные намерения, планы, цели, системы, много слов и абстрактные объяснения. Он был поэт и преследовал свои идеалы. На его долю выпала незаслуженная слава составления плана по воспитанию Наследников Престола. Я боялась его, когда он входил во время урока и ставил мне один из своих вопросов, как, например, во время урока Закона Божия: «Что такое символ?» Я молчу. «Знаете ли Вы слово символ?» — «Да». — «Хорошо, говорите!» — «Я знаю символ Веры, Верую...» — «Хорошо, значит, что обозначает символ Веры?» — Мне сейчас 59 лет, но этот вопрос привел бы меня и сегодня еще в смущение. Что могла ответить на это девочка! — Жуковский читал выдержки из того, что он написал о воспитании, нашей Мама, которая, после таких длинных чтений, спрашивала его просто: «Что вы, собственно, хотите?» Теперь был его черед молчать. Я склоняюсь признать за ним красоту чистой души, воображение поэта, человеколюбивые чувства и трогательную веру. Но в детях он ничего не понимал.

При выборе учителей считались с советом пастора Муральт, возглавлявшего лучшее частное учебное заведение Петербурга. Благодаря прекрасным преподавателям и Мердеру с его практическим умом, все попытки к влиянию Жуковского не принесли нам вреда. Потом, после того, как он женился на Елизавете Рейтерн, я полюбила его. Благодаря ей, он встречался со строгим протестантом Рейтерном и пылким католиком Радовиц. Он сам, православного вероисповедания, был малосведущ в делах своей Церкви. Он стал изучать ее, чтобы быть достойным противником в вышеназванных дискуссиях. В то время Радовиц напечатал свой чудес-

ный диалог о присутствии Господа Бога в Государстве и Церкви.

В то лето, когда у нас появился Мердер, Папа подарил нам остров около Петергофа. Саша и его товарищи игр соорудили там дом из четырех комнат с салоном, мы таскали кирпичи и делали дорожки через кустарники, где до тех пор жили только одни кролики. Нам подарили лодки, для того, чтобы мы научились грести. Матрос следил за нашей маленькой гаванью и учил нас морским обычаям. В кухне мы готовили настоящие обеды — я сама умела только тереть корицу для молочной каши. Небольшое возвышение было названо «Мысом Доброго Саши», в этом видели счастливое предзнаменование.

По возвращении наших родителей, в Петергофе была освящена Александровская дача, Александровский Летний дворец. Участок, бывшие огороды стоявшего в Петергофе полка, был подарен моим родителям Императором Александром I-м, знавшим их любовь к морскому побережью. Дом был снаружи совсем простой, в английском стиле, внутри же все отделано прекрасной панелью в старинном готическом стиле, во вкусе того времени, как это можно было прочесть в романах Вальтер Скотта или в рейнских сказаниях Среднего века.

Осенью мы жили в Аничковом, там мои родители находили снова покой тихого существования своей молодости, который они так любили, вне всякого этикета. Часто, после утомительных дней приемов и маскарадов, они уезжали туда, чтобы быть вдвоем. Зато Страстную Неделю они проводили всегда в Аничковом, там и мы все готовились к исповеди и Причастию.

Вспоминается мне, в то время, один ноябрьский вечер. Мы только что были одеты в праздничные платья, чтобы ехать в Смольный Институт, где воспитанницы так называемого Белого (старшего) класса, ставили балет, как пришло известие, что экипажи отказаны, Мама не может ехать. Испуганные мы побежали вверх, чтобы узнать, что случилось. Каммерфрау не разрешила нам войти: «Государь читает Мама депеши,

только что прибыл курьер из Варшавы с плохими известиями».

Это была польская революция 1830 года. За этим вечером, последовала длинная, грустная зима, уход гвардейских частей и многое другое, печальное и мрачное. Вначале поляки побеждали нас, а после боев под Гроховым и Остроленкой, русским войскам пришлось освободить всю польскую территорию и, только 7 сентября 1831 года, они смогли снова взять Варшаву.

В наши учебные классы, в наш детский мирок проникло только слабое эхо событий. Адини и я часто болели в то время. Она страдала желёзами, у меня же был коклюш и меня отделили, в моей комнате, вместе с Шарлоттой Дункер. Я не смела никого видеть, но процветала переписка и обмен маленькими подарками с сестрами. Уроков не было, кроме чтения по русски и английски, меня берегли и я казалась себе очень интересной. Иной раз под вечер заходила Мама с Сэсиль Фредерикс и играла со мной в лото.

Весной пришли скверные вести с театра военных действий: эпидемия холеры в армии и смерть Великого Князя Константина Павловича. Мы едва знали его, я видела его всего два раза. Его голос был груб, брови щетинились, форма туго стянута в талии, отогнутые полы мундира были подбиты желтым. Он называл Мама «Мадам Николая» и часто приводил ее в смущение своими солдатски-грубыми манерами и речами. Но его братья относились с уважением к тем 20-ти годам, на которые он был старше них. Уже позднее, из рассказов его современников, мне стала известной его личность. У него были качества полу-татарского, полурусско-цивилизованного характера. По натуре добрый и великодушный, нестесненный правилами и узами морали, он поднимался иной раз до геройства, что доказывает его поведение во время пожара Москвы. Но в обыденной жизни он не мог отказаться от всяких соблазнов. Он окружил себя шутами и любил, незаметно, вплетать в салонные разговоры анекдоты. Похожие черты, если и не так ярко выраженные, выявлялись и у дяди Михаила Павловича. Обоим нехватало человеческого достоинства, которым в такой степени обладал

Папа, эта нравственная сила, которая возносит нас над самим собой.

Из оппозиции к Петербургу, дядя Михаил хвалил свободную жизнь в Варшаве и прелесть и любезность польских дам, «от которых петербургским куклам нужно было только прятаться». Что же касается Константина Павловича и его пребывания в Польше, то Мама считала, что он заслужил быть повешенным и называла его фрондером.

Саша получил титул Цесаревича, который оставался за Константином Павловичем, хотя он и отказался от Престола. Его адъютанты поступили в распоряжение моего отца. Между ними были чужие и безродные, умные люди или просто красавцы, как, например, американец Монро или Безобразов, любимец всех дам. Вдова Великого Князя Константина Павловича, княгиня Лович, ангелоподобное создание, которая казалось только и жила для того, чтобы смягчить грубость своего мужа, была полькой и перенесла много страданий. Она бежала с ним вместе от сначала таких удачливых поляков, ухаживала за ним до последнего вздоха в Белостоке и приехала потом к нам в Царское Село, где Родители приняли ее как сестру. Сломанная душой и телом от всего перенесенного, она не оправилась больше и скончалась как раз год спустя после революции, оплакиваемая теми немногими, в кругу которых она светила своей добротой.

Холера приближалась большими шагами вдоль по Волге. Ее еще не знали в Европе и думали, что можно ее сломить как чуму, средствами дезинфекции. Как только она добралась до Петербурга, Двор замкнулся в строгий карантин. Никто не имел права въезда в Петергоф. Лучшие фрукты этого, особенно теплого, лета, выбрасывались, также салат и огурцы. Кадетские корпуса одели своих воспитанников во фланелевые блузы. Им посылались чай и вино. Мы, дети, не понимали опасности и радовались удлинненным каникулам, ввиду того, что наши учителя не могли покинуть город. Папа выписал Сэсиль Фредерикс с семьей из Финляндии, чтобы развлечь Мама. Она была урожденной Юрьевской, ее мать урожденная Бишофсвердер из Пруссии,

выросла при Дворе в Берлине. Мама знала ее со своих девичьих времен. В день ее свадьбы, ее муж сделался адъютантом Папа и они вместе жили в Аничковом. Почти всегда в ожидании очередного ребенка, она проводила свои вечера с Мама, в то время как мужья занимались верховой ездой или военными разговорами. Когда Фредерикс получил полк, они должны были переселиться в одну из Московских казарм. Там во время бунта Декабристов он был ранен, когда пытался остановить своих офицеров. Он получил сабельный удар по голове и упал замертво на землю. Сэсиль все видела из окна, от испуга ей сделалось дурно. С этого дня дружба Мама к Сэсиль еще больше укрепилась. Сэсиль была бесконечно предана Мама.

Фредериксу был предначертан полнейший успех его карьеры. Он умер в чине Обершталмейстера, честный человек, правда, немного ограниченный, но всегда добрый по отношению своих подчиненных. Сэсиль же была человеком особого склада. Очень красивая, с волосами цвета воронова крыла с синим отливом; слишком естественная для того, чтобы быть элегантною, с прирожденным умом, всегда готовая все воспринять. Когда ее положение подруги Мама стало очевидным и считалось утвержденным, ей стали льстить и под нее подлаживаться. Это же полностью обрисовало ее подлинный облик. Замкнутая против всех интриг, она не позволяла себе ни покровительствовать фаворитам, ни передавать слухи или поклепы, какого бы они ни были характера, Мама. Никогда она не была обременительной, хотя могла свободно входить к нам, когда хотела, и Папа и мы, дети, любили ее в одинаковой степени. Она пользовалась нашим доверием, знала о наших планах и маленьких заговорах и умела, не вызывая внимания, удалять нас из комнат родителей, когда мы слишком шалили. С Папа она обращалась совершенно свободно и не боялась даже строго побранить его, если считала, что он недостаточно бережет Мама и не замечает ее потребности в покое. В такие минуты он становился совсем смиренным и кающимся, покуда не начинал смеяться, схватывал Сэсиль в свои объятия и раскачивал ее как ребенка. Она охотно принимала на себя

обязанности дежурной фрейлины; это было единственным влиянием, которое она себе разрешала. Подрастая мы, дети, имели в ней верного друга, такого же справедливого, как великодушного. Для Мама же она была долгие годы неиссякаемым источником помощи во всех обыденных делах, сочувствием ли или словом и делом. Она приходила к Мама каждый раз, когда ее передевали к приему при Дворе и после таких приемов она еще сама шла куда-нибудь в общество. Несмотря на то, что она уже в молодые годы бросила танцы, ее очень любили как собеседницу. С годами и заботами, которые принесли ей ее дети, она перестала любить общество. После смерти своего сына Дмитрия она приняла православие. Этот шаг она уже давно обдумывала. Четыре ее сына были православными и она надеялась таким образом быть ближе к душе своего любимого Дмитрия.

Мама не разделяла взглядов Сэсиль, ввиду того, что не нуждалась в такой степени как та, в утешении церкви. С тех пор посещения церкви стали помехой для ее частых визитов к нам. Богослужения и посты, исповедь и посещение монастырей, всему этому Сэсиль отдалась с жаром; это было для нее потребностью и удовлетворением, в то время, как Мама это считала скорее святошеством и внутренне, может быть, даже осуждала. После живейших споров, которые со стороны Сэсиль может быть были слишком упорными, с обоюдного молчаливого согласия, решено было не трогать больше этих вопросов. Мы стали меньше видеться и привычки изменились, когда обе начали прихварывать. Мама сохранила свой интерес к молодежи, ввиду того что ее существо оставалось юным и веселым. Сэсиль, которая прежде, может, сильнее израсходовалась, чувствовала потребность во внутреннем покое. Прелесть и развлечення ее прежней жизни истощились и ее опустошенная душа искала покоя и поддержки. Отсюда и ее потребность к покаянию и аскетизму. Последние годы ее жизни были грустными: в семье царствовал раздор и отсутствовало внимание. Только ее младшая дочь Маша оставалась при ней. Мучительная болезнь прекратила ее существование в мае



1851 года. Она умерла христианкой и была стойкой до конца. Никто из ее детей не походил на нее...

## 1831 ГОД.

В то лето 1831 года, когда холера удерживала нас в Петергофе, там же поселилась семья графа Виельгорского, возвратившаяся из заграницы. Дети, три прелестные девочки и два мальчика, стали товарищами игр и, впоследствии, хорошими друзьями. Граф Виельгорский, будучи свободным художником, объединял в своем доме всех, кто был предан искусству, русских и иностранцев, поэтов, художников и музыкантов и в их толпе тех, кто стремился в его дом, ввиду того, что там можно было слышать прекрасную музыку, или только оттого, что считалось хорошим тоном бывать у него. Все они всегда находили там радушный прием. Граф был доброжелательным человеком, но несколько поверхностного образования, масон как и бон-виван и всюду дома, как в самых изысканных салонах, так и в кругу веселящихся повес, на пиру которых он, с бокалом шампанского в руке, пел зажигательные цыганские песни у ног какой нибудь красавицы. Прекрасно читая и декламируя, он постоянно держал Мама в курсе современной литературы. Он умел скользить поверх предосудительных вещей, без того чтобы споткнуться.

Насколько мы, дети, любили его, настолько же не любили его жену. Она обращалась со своим мужем, как с маленьким ребенком. Она была урожденной принцессой Бирон-Курляндской, католичка, очень добродетельная безо всякой прелести и считала себя выше сво-

его мужа. Женщина необыкновенно остроумная и ее язык жалил, как укус насекомого. После каждого злобного замечания, она облизывала себе губы, точно для того, чтобы спрятать самодовольную улыбку. При этом она была то, что называется дамой с заслугами. Она сама, без гувернантки, следила за воспитанием своих детей, и всегда сопровождала своих дочерей, если они приходили к нам. При этом от нее никогда не укрывалось ничего, что можно было бы не одобрить, замечания шепотом делались нашей няне Барановой, которая легко поддавалась под влияние и это приводило потом к замечаниям и к нашему большому неудовольствию, ввиду того, что мы знали, с какой неблагоприятной стороны они исходили.

Наряду с очень строгим воспитанием, с другой стороны, нам предоставляли много свободы. Папа требовал строгого послушания, но разрешал нам удовольствия, свойственные нашему детскому возрасту, которые сам же любил украшать какими нибудь неожиданными сюрпризами. Без шляп и перчаток мы имели право двигаться по всей территории нашего Летнего Дворца в Петергофе, где мы играли на своих детских площадках, прыгали через веревку, лазили по веровочным лестницам трапедий, или же прыгали через заборы. Мари, самая предприимчивая из нашей компании, придумывала постоянно новые игры, в то время как я, самая ловкая, их проводила в жизнь. По воскресениям обедали на Сашиней Молочной ферме со всеми нашими друзьями, гофмейстерами и гувернантками, за длинным столом до тридцати приборов. После обеда, мы бежали на сеновал, прыгали там с балки на балку и играли в прятки в сене. Какое чудесное развлечение! Но графиня Виельгорская находила такие игры предосудительными, так же как и наше свободное обращение с мальчиками, которым мы говорили «ты». Это было донесено Папа; он сказал: «Предоставьте детям забавы их возраста, достаточно рано им придется научиться обособленности от всех остальных».

Наши комнаты в Летнем Дворце, находившиеся вблизи от Папа, были очень маленькими. Мы проводили большую часть дня на балконах, которые нам слу-

жили как классами, так и столовыми. Папа вставал летом в семь часов утра и, в то время как одевался, пил свой стакан Мариенбадской воды, потом шел гулять со своим верным пуделем, а часто и в обществе Чичерина и Орлова, в Монплеизир, чтобы выпить там свой второй стакан минеральной воды. После этого, он садился в экипаж и, совместно с Эрдером, своим любимым садовником, осматривал работы в парке. Ровно в девять часов он уже был в Петергофском дворце, на докладе министров.

Это длилось до обеда; после этого следовали до двух часов осмотр караулов, парады или же представления. Но когда за ним закрывались ворота нашего Летнего Дворца, все заботы Государства и Власти оставались позади и Он предавался только радостям семейной жизни. В то время это еще было возможным, оттого что телеграф и железная дорога не перекрещивались с жизнью; почта из заграницы приходила только по средам и субботам, мы были ограждены от неожиданностей, которые в наше время, начиная с 60-х годов, так изнашивают нервы и характер.

Во время нашего карантина, Мама была в последней стадии ожидания, которое ей причинило много беспокойства и волновало недобрым предчувствием. Папа, очень обеспокоенный этим, отказался от всех путешествий, даже от всяких поездок. В один прекрасный июльский день этого лета, который был удушлив как никогда и в который солнце светило красным отблеском в сером чаду, пришло известие из Петербурга, что там поднялся бунт.

В отчаянии от холерной эпидемии, уносившей ежедневно до трехсот жертв, чернь восстала против врачей и начала их избивать, уверяя, что они отравляют больных. Папа сейчас же сел в свою коляску и, сопровождаемый Орловым, поехал прямо к рынку на Сенной Площади. Его неожиданное появление оказало магнетическое действие. Все головы обнажились. «Дети», воскликнул он своим низким, звучным голосом, покрывшим мгновенно гул толпы, «дети, что вы делаете? На колени — ваш Государь требует этого, на колени и просите у Господа прощения». И толпа, только что бун-

товавшая, встала, рыдая, на колени. С этого дня порядок больше не нарушался. Через несколько часов, Папа вернулся в Петергоф, взял ванну, переменял одежду и появился во время к столу, без того чтобы Мама заметила его длительное отсутствие.

27-го июля 1831 года легко и безболезненно появился, в Царском Селе, третий Сын моих родителей, и Мама быстро оправилась после этих родов. Ребенка назвали Николаем, ввиду того что он родился в день св. Николая Новгородского. Вскоре после этого, горизонт прояснился. Штурм Варшавы закончил Польскую кампанию, Папа опять повеселел и стал принимать участие в наших летних играх на воздухе. В Царском Селе наша компания еще увеличилась, благодаря детям соседей. Но мы предпочитали свои увеселения в небольшой компании, прогулки и поездки, цель которых почти всегда была Молочная ферма в Павловске, где мы любили пить молоко. Мы ездили в одной коляске, называвшейся «линейкой» и которых не видно больше теперь. Она походила на канапэ «dos à dos» и имела восемь мест, которые были расположены так низко, что можно было легко, без посторонней помощи, влезть и слезть с них. В Павловске, толстая экономка родом из Вюртемберга, угощала нас черным хлебом с маслом, картофелем, отваренным с луком, и сопровождала такие закуски маленькими рассказами о нашей бабушке.

Если я не ошибаюсь, то именно этим летом в Петербург приехала певица Генриэтта Зоннтаг. Прекрасная как цветок, с голубыми глазами и прелестными губами, которые, во время пения, обнажали два ряда мелких, безупречных зубов, она вызывала восхищение, где бы ни появлялась. Она пела как-то днем у Мама по немецки и сама аккомпанировала себе.

Нам пообещали посещение царскосельского театра в одно из воскресений, если мы будем иметь хорошие отметки в течение недели. Наступила суббота, мои отметки были лучшими, а у Мэри ужасные. Решили, что ни одна, ни другая в театр не пойдут, чтобы не срамить Мэри, старшую. Я смолчала, но в глубине души была возмущена, считая, что меня можно было по крайней мере спросить, согласна ли я принести эту жертву мо-

ей сестре. В следующую субботу: та же история! В этот момент Папа неожиданно вошел в комнату и сказал: «Олли, иди!» Я была совершенно взбудоражена, когда узнала, что меня в театр все таки возьмут. Давали «Отелло»; это было первой оперой, которую я слышала.

Если Мэри плохо училась, несмотря на свои хорошие способности, то помимо ее детского легкомыслия, это было виной мадам Барановой, не имевшей и тени авторитета. Очень добрая, очень боязливая, в частной жизни обремененная заботами о большой семье, на службе, кроме воспитания Мэри, еще и ответственная за наши расходы и раздачу милостыни, она не умела следить за порядком в нашей классной. Каждую минуту открывалась дверь для гостя или лакея, приносившего какую либо весть, и Мэри пользовалась этим нарушением, чтобы сейчас же вместо работы, предаться каким нибудь играм. Этому недостатку строгости и дисциплины можно вероятно приписать и то обстоятельство, что Мэри и позднее не имела определенного чувства долга. Мадам Барановой не хватало чуткости, чтобы вести ее. Она только выходила из себя, держала длинные речи, которые Мэри в большинстве случаев прерывала каким нибудь замечанием. Слишком остроумная, чтобы вызывать неудовольствие своих учителей, она могла бы, если б с ней правильно обращались, преодолеть все препятствия и быстро наверстать потерянное. Сэсиль Фредерикс часто говорила ей: «Мэри, что могло бы из Вас получиться, если бы Вы только хотели!»

Ввиду того, что я рассказываю только о том, что сама помню, у меня остается мало места для политики, в этих рассказах из детских лет. Однако два обстоятельства я все же должна упомянуть. Одно из них был визит шведского Наследника, сына Бернадотта, в июле 1830 года. Это считалось событием, оттого, что с 1796 года ни один шведский принц не посещал Нашего Двора, после того, как разошлась свадьба между Густавом Третьим и Великой Княжной Александрой Павловной.

Второе было — визит персидского посольства. Это было поводом к высшей степени торжественной аудиенции: Их Величества перед Троном, мы, ниже их на сту-

пеньках, полукругом сановники, Двор, высшие чины армии, все это наполняло Георгиевский зал с проходом посреди, который обрамлялся двумя рядами Дворцовых Гренадер. — Двери распахнулись, вошел Церемониймейстер со свитой и, наконец, показался Хозрев Мирза, внук шаха Аббас Мирзы, сопровождаемый старыми бородатыми мужчинами, все в длинных одеяниях из индийского кашмира, с высокими, черными бараньими шапками на головах. Три низких поклона! Потом Хозрев прочел персидское приветствие, которое Нессельроде (тогдашний министр Иностранных Дел) передал Государю в русском переводе. На него отвечал Государь по русски.

Несколько раз после этого можно было еще видеть этого молодого чужеземца, не старше 15 лет, при Дворе, он завораживал дам своими чудными темными глазами. Он развлекался в театрах, на балах и не зная больше четырех слов по французски, которые он употреблял, смотря по обстоятельствам: «совершенно верно», говорил он мужчинам и «очень красиво» — дамам. Десять лет спустя, во время дворцовой революции, ему выкололи глаза, эти бедные, в свое время так всех восхищавшие, глаза.

Императрице поднесли прекрасные подарки; персидские шали, драгоценные ткани, работы из эмали, маленькие чашки для кофе, на которых была изображена бородатая голова шаха. Государь получил чепраки, усеянные бирюзой и седла с серебряными стременами. Я еще не упомянула четырехрядный жемчуг, который менее отличался своей безупречностью, чем длинной. Мама охотно носила его на торжественных приемах и я его от нее унаследовала.

Революция в июле 1830 года во Франции и падение Бурбонов, вызвали у нас большое волнение. Законность была для нашего отца то же, что лояльность. Французские дети были одного возраста с нами; Карл 10-й просил руки одной из нас, сестер, для Герцога Бордосского; мы знали рассказы Буйи, посвященные этим детям, и вдруг — они оказались в изгнании в Холейроде, напомиравшем нам несчастную Марию Стюарт! О революции в Бельгии мы слышали только в связи с

тем, что сестра Папа, которая там была замужем, должна была покинуть свой чудесный дворец в Брюсселе, наполненный ценными вещами из Михайловского Дворца в Петербурге. Геройская защита крепости Антверпена упоминалась очень часто и портрет защищавшегося генерала был выставлен в городских витринах.

## 1832 ГОД.

Зима была прекрасной, неомраченной никакими событиями, с массой веселых развлечений для взрослых. Наши, еще молодые, родители охотно бывали в обществе, и Мама, которой «ожидание» так часто мешало танцевать, наслаждалась этим. Устраивались зимние игры, поездки на санках с ледяных гор, парадные обеды, на которых разыгрывались партнеры для санок на следующий день, и Мама и Сэсиль часто нам, со смехом, рассказывали об этих развлечениях. Мы с восторгом слушали их, тем более, что в эту зиму Адени и я должны были часто оставаться в постели из-за простуды, занимаясь, главным образом, рисованием и вырезыванием бумажных кукол.

Было и несколько свадеб при Дворе. Так среди них и свадьба фрейлины Сашеньки Россетт с адъютантом Смирновым. Она была красивая и остроумная брюнетка и известна в литературных кругах своей дружбой с Жуковским и Гоголем. С годами ее остроумие сменилось горечью, она считалась сумасбродной и редко возвращалась к светлым часам.

В тот год у Мама было двенадцать фрейлин, включая тех, которых она получила от бабушки. В деревню нас сопровождали только молодые, старшие оставались

в Зимнем Дворце. Мы, дети, знали их всех хорошо. Дежурная фрейлина должна была в обеденное время быть у Мама, чтобы принять приказания на день. Между ними была маленькая, пожилая мадмуазель Плюшкова, отпугивавшая нас своими ледяными руками, тем более, что захватив руку в свою, она долго не отпускала. Она была крайне бдительна, часто наблюдала за нами в дверную щель и была, к тому же, еще дружна с графиней Виельгорской. Она была неранодушна к баталисту Ладюрьер и часто навещала его в его ателье, в Эрмитаже. Как только о ней докладывали, чтобы ее спугнуть, он начинал бить в барабан. Своим успехом он хвастался у Папа, который очень над этим смеялся.

Когда, с приближением зимы, мой кашель не прерывался, а распухшим гландам Адини не становилось лучше, доктора предложили отправить нас на морские купанья в Доберан, расположенный в Мекленбурге, где сестра Мама, тетя Александрина могла нас взять под свое покровительство. Мысль отправиться за границу без родителей, нас совершенно не радовала. Нас погрузили на «Ижору», единственное судно Балтийского военного флота, имевшее ход девять узлов. Папа провожал нас до Ревеля. Не доходя до города, нам дали знать, что идет почтовый пароход из Любека. (Весть для нас? Да! Мы остановились; Папа открыл депешу и побледнел: холера в Доберане! «Назад!» — Возвращение! Какое счастье! Так думали мы. Но нет! Судно берет направление на Ревель, не возвращаясь в Петербург. Папа решил, что мы останемся в Екатеринентале (дворец), где нас устроили наспех.

Потом, в этом первом приключении нашей жизни, открылась своя прелесть. Папа поспешил возвратиться в Петербург, чтобы успокоить Мама и передал нас на попечение князя Василия Долгорукого и его адъютанта, который был командиром нашего судна. Его звали Литке и он только что вернулся из кругосветного путешествия. Нам было ново и интересно наблюдать за тем, как он себя вел, так как он был молчалив и неопытен в придворном быту. Особенно же велико было смущение нашей Юлии Барановой в этих импровизированных обстоятельствах.



Экипажный и кухонный персонал были быстро организованы, началась регулярная домашняя жизнь, выстроили мол и на десятый день мы могли выкупаться в море, что привело Адини и меня в восторг, в то время как Мэри, которая отчаянно мерзла, должна была от купания отказаться. Мы приняли тридцать морских ванн и успех был налицо. Маленький Дворец в Екатеринентале был построен Петром Великим. Там росли чудесные каштаны, собственноручно им посаженные. Зал рококо в бэль-этаже имел террасу вдоль главного портала, с которой можно было попасть в верхний сад. Этот сад был отведен для нас, в то время как остальная часть парка была открыта для публики.

По воскресеньям там играл военный оркестр. Нам надевали наши красивейшие платья, шляпы, подбитые розовым муслином и, рука об руку, мы должны были проходить через публику, собравшуюся, чтобы видеть Царских детей. Должна сказать, что мне было гораздо приятнее смотреть самой, чем давать себя разглядывать. Такие прогулки были обязанностью.

Мы должны были также принимать сановников, военного губернатора Палена, гражданского губернатора Бенкендорфа, коменданта Паткуля, отца Сашиного друга детских игр, которому мы сделали визит в его прекрасном, лежащем над городом, доме. Там было целое гнездо детей и внуков и, делалось все, чтобы развлекать нас. Между прочим, у них состоялся в нашу честь деревенский праздник, с играми и танцами, девушки в красивых национальных костюмах, парни — скорее некрасивые, со своими длинными белесыми волосами. Капитан Литке передал нас, на это время, под покровительство некоего господина де Россильон, швейцарца по происхождению, любезного старичка, умевшего, самым веселым образом, поучать нас. Когда он появлялся у нас по утрам со своим букетом роз, мы уже бежали ему навстречу. С его программой дня мы всегда были согласны. Он водил нас к «Длинному Герману» и «Толстой Маргарите», башням города, показывал нам Клуб Черноголовых с залом, где висели гербы эстляндского дворянства и рассказывал о монастыре Св. Бригитты и легенду его зарождения.

25-го июля в Екатеринентале был молебен с парадом войск. Выстроился Невский пехотный полк и раздавались медали в память Турецкого похода. Эта военная сцена захватила нас и привела в восторг.

Через несколько дней мы прервали нашу ревельскую жизнь, чтобы со всеми вместе праздновать в Петергофе рождение Мама. Вечером был феерический балет в саду Монплэзира перед бьющими фонтанами, освещенными бенгальским огнем. До августа, мы еще оставались в Ревеле, чтобы потом последовать за нашими родителями в Царское Село.

В то время, опять входило в моду все китайское. Некто мадмуазель Флейшман учила нас рисованию в китайской манере, а также изготовлению лакированных работ и вышивке золотом по черному шелку. Многие дамы Двора собирались у Мама, чтобы украшать таким образом столики, стулья и ширмы. Старая княгиня Бобринская, которая отличалась изобретательностью, придумала занимать грубые пальцы мужчин вырезаньем из персидских материй цветов с крупным узором, которые потом наклеивались на стекло для ширм. Целый зал в Александровском дворце был декорирован в этом новом вкусе; стали также ставить мебель посреди комнат, вместо того, чтобы выстраивать ее, как прежде, по стенам. Кроме бильярда, рояля и ломберных столов в зале могли уместиться по крайней мере сто человек.

В конце сентября мы переехали в Зимний дворец, а 13-го октября родился у Мама четвертый сын, ее последний ребенок, названный Михаилом. Он и Низи (Николай), которые назывались «маленькими братьями», долго оставались вместе, как близнецы. Они действительно были драгоценностями для нас, эти маленькие Венямины! Каждый вечер, в час их купанья, вся семья собиралась в их детской. Они были первыми, пробудившими во мне материнские чувства, кроме того, как крестная мать Михаила, я чувствовала себя, в свои десять лет, ответственной за них обоих. В год этого моего рождения старая, прусская каммерфрау Мама сказала мне: «Олечка, теперь начинаются двойные чи-

сла, от которых Вы уж не избавитесь». Как это верно! Разве только, что исполнится сто лет.

### ЗИМА 1833 ГОДА.

Итак, все мы, семеро, были уже на свете и наступает момент, когда я хочу описать нашу семейную жизнь, это тепло очага, которое священно и неисчерпаемо и благословляет на всю последующую жизнь.

Мне очень трудно передать, что значила Мама моему детскому сердцу. Она была именно Матерью и описать это невозможно. У нее мы чувствовали себя дома, как в раю. Каждую свободу минутку я бежала к ней, зная, что никогда не помешаю. Единственное, что мы иногда слышали это «Будьте чуточку спокойны», в то время как Вилламов или Лонгинов, секретари Благотворительного Общества, бывали у нее на докладе. Обычно, она сидела за своим большим письменным столом занимаясь корреспонденцией и в это время, мы свободно могли играть у нее в кабинете. Это была красивая, угловая комната с видом на Неву, обтянутая зеленым с амарантом штофом, всегда наполненная цветами. Мама любила одеваться в светлое, по утрам же всегда в белый вышитый перкаль с душегрейкой из кашемира или бархата. Я не помню ее иначе, как веселой, доброй и всегда в одинаковом настроении. Ей не надо было ни под кого подлаживаться, ничего прятать. В прелести и простоте своего существа она была недоступна ничему злему. Я помню, как одна дама высоких нравственных качеств, так была захвачена ее существом, что долго раздумывала, над причиной этой прелести. Было ли это привычкой обращаться с людьми,

женской прозорливостью или же расчетом и желанием обворожить? В конце концов она пришла к убеждению, что Мама держала себя совершенно естественно и она склонилась перед этой простой добротой, которая была сильнее всех духовных сил. Эта дама была баронессой Мейендорф, урожденной графиней Брюль, проведшей свою жизнь в утонченных дипломатических кругах.

Если Мама и не была тем, что называют «*femme d'esprit*», то она имела способность очень тонко оценивать людей и вещи, и ее мнение, если о нем спрашивали в серьезных делах, бывало всегда поразительно верно. Однако, главное ее назначение было быть любящей женой, уступчивой и довольной своей второстепенной ролью. Ее муж был ее Водителем и Защитником, пользовался ее абсолютным доверием и единственное, что утоляло ее тщеславие было знать, что он счастлив. Удалось ли ей сделать его счастливым? Прощальные слова моего отца, обращенные к ней перед смертью, пусть будут этим ответом: «С первого дня, как я увидел тебя, я знал, что ты добрый гений моей жизни».

Что касается общения с нами, детьми, то в нем не было никакой предвзятости, никаких особых начал, никакой системы. Мы просто делили с ней жизнь и это было так легко, как воздух, который вдыхаешь, как будто иначе и не могло быть. Если Мама была в отъезде, мы были как потерянные. И тем не менее, я не могу сказать, чтобы она занималась нами. Может быть сильное впечатление производил пример ее жизни. Только когда я сама была уже замужем, я поняла, что значит иметь такой пример перед глазами. Выезжала ли она, навещала ли институты или принимала дам у себя, всегда что то от ее существа захватывало и нас, и в те вечера, когда мы стояли у рояля и слушали игру и пение, мы учились глазами и ушами, без длинных тирад тому, как надо себя вести с людьми. В ее личности было что то обезоруживающее. Окруженная роскошью, она никогда не позволила бы себе подпасть под влияние чрезмерной элегантности или пышности. Ее единственной искренней потребностью, которую она

себе разрешала, было то, что время от времени ей приносились и затем сменялись картины из Эрмитажа. Потом Папа заказал для нее копии тех картин, которые она особенно любила.

Распределение дня Мама не было регулярным из-за ее многочисленных обязанностей и различных визитов, которые она должна была принимать. Вход к ней был свободен для князя Волконского, на обязанности которого лежало обсуждение с ней приглашений на балы, а также выбор подарков к крестинам и свадьбам; и — для генерал-адъютанта и флигель-адъютантов. Все они, а также и некоторые привилегированные друзья, дамы и кавалеры, могли приходить к ней, без того, чтобы стоять в списке. Они приходили уже с утра, чтобы выпить с Мама чашку шоколада, в то время, как обсуждалось необходимое. По воскресеньям, после обедни, представлялись мужчины, по вечерам — дамы. В большинстве случаев их бывало от сорока до пятидесяти человек: матери, которые привозили представляться своих только что вышедших замуж дочерей, дамы, приезжавшие прощаться перед каким-нибудь отъездом или такие, которые благодарили за очередное производство их мужей, все они в придворном платье с длинным шлейфом. Это были утомительные обязанности. Мама была освобождена от них только после того, как сдало ее здоровье. Нам, детям, доставляло громадное удовольствие, если мы иногда совместно с Папа могли наблюдать через дверь. При этом, Папа делал знак рукой некоторым хорошим знакомым.

По вечерам, ходили во французский театр, ансамбль которого привлекал знатоков, а также и тех, кто любил бывать в блестящем кругу. Папа, который, после шестнадцатилетнего брака, все еще был влюблен в Мама, любил видеть ее нарядно одетой и заботился о самых мелочах ее туалета. Бывали случаи, что, несмотря на все ее протесты, ей приходилось сменить наряд, потому что он ему не нравился. Это, правда, вызывало слезы, но никогда не переходило в «сцену», так как Мама сейчас-же соглашалась с ним и Папа, немного смущенный и сконфуженный, усиливал свою нежность к ней.

В определенные дни недели нам читали в Сашиной библиотеке французских классиков, особенно Мольера. Это делалось актерами Французского театра. Я вспоминаю при этом, уже сильно пожилую мадам Бра, неподражаемую в характерных ролях, которая приводела в восторг и потешала Папа и дядю Михаила. Вся эта французская театральная публика занимала дом на Крестовском на берегу Невы. Часто, когда мы ехали кататься, мы останавливались под балконом и Папа звал: «Мадам Бра, вы дома?» Старая дама пышных размеров сейчас же появлялась и начинался шуточный диалог. Папа смеялся до слез, в то время как Мама не очень одобряла скабрзные шутки в нашем присутствии.

И несмотря на это, были и такие добродетельные дамы, которые обвиняли Мама в легкомыслии и фривольности! Никак не угодишь всем на свете. Эти дамы жаловались Московскому Митрополиту Филарету, что Мама вместо того, чтобы думать о спасении души, только и делает что танцует и гоняется за развлечениями. На что тот возражал: «Возможно, но я думаю, что она танцуя попадет в рай, в то время как вы еще будете стучаться в дверь...».

Я помню, что после недель светских развлечений, Мама испытывала потребность в покое и серьезных разговорах. Пользуясь поездками Папа в Кронштадт или в другие места, она приглашала к себе Софи Бобринскую. Это была одна из тех ее подруг, которая внутренне более всех ей подходила. Софи Бобринскую знали немногие ввиду того, что она редко бывала в обществе, но эти немногие ценили ее. Я никогда не слышала от нее ни одного пустого слова и если я, будучи ребенком, и не могла следить за тем, о чем они говорили с Мама, то все же я чувствовала что то необыкновенное в ее разговорах и мыслях. Если Мама брала нас с собой, чтобы навестить ее, это было для нас всегда большой радостью. Когда она приезжала в Зимний дворец, Мама запиралась с ней в красном кабинете. Этот кабинет был подобием алтаря, в котором хранились разные ценные вещи. Там был мраморный бюст Королевы Луизы Прусской, портреты Императора Александра I-го,

бабушки и других родственников, а также разные предметы, которыми они пользовались при жизни, как например, молитвенники и усеянные камнями кресты. Перед церковной службой часто Адина и я тайком пробирались туда, становились на колени перед семейными реликвиями и целовали портреты предков, усердно молясь перед ними. Страх быть пойманными и выбранными, вероятно, еще усиливал потребность к этим тайным богомольям, благодаря которым мы научились молиться непосредственно от сердца.

Наше религиозное воспитание было скорее трезвым. Нас окружали воспитатели протестанты, которым едва были знакомы наш язык и наша церковь. Мы читали в их присутствии перед образами Отче Наш и Верую, нас водили в церковь, где мы должны были прямо и неподвижно стоять, без того чтобы уметь вникать в богослужения. Чтобы не соскучиться, я повторяла про себя выученные стихотворения. Наш первый преподаватель Закона Божия и духовник, о. Павский, читал нам Евангелие, не давая ничего нашему детскому представлению и только позднее, о. Бажанов, стал объяснять нам Богослужение, чтобы мы могли следить за ним. Вероятно из оппозиции к безразличному религиозному отношению нашего окружения, в нас, детях, развилось сильное влечение к нашей православной вере. Благодаря нам, наши Родители выучились понимать чудесные обряды нашей церкви, молитвы праздников и псалмы, которые в большинстве случаев читаются быстро и непонятно псаломщиками, и которые так необычайно хороши на церковнославянском языке.

Для Папа было делом привычки и воспитания никогда не пропускать воскресного Богослужения и, с открытым молитвенником в руках, он стоял позади певчих. Но, Евангелие он читал по французски и серьезно считал что церковно-славянский язык доступен только духовенству. При этом, он был убежденным христианином и глубоковерующим человеком, что так часто встречается у людей сильной воли.

Для Мама, религиозным направлением были впечатления ее протестантского воспитания. В нашей религии для нее радостью и утешением были только мо-

литвы об умерших, оттого что они теснее соединяли ее с покойной матерью. Ни Богослужения, ни молитвы не могли умилить ее до слез. И все-же, кому случалось быть свидетелем того, как Мама с Папа готовились к Причастию, должен был неминуемо придти к заключению, до какой степени верующими они были. В эти дни, Папа был преисполнен детски-трогательным рвением, Мама же скорее сдержанная, но без налета всякой грусти.

В последний день старого года, неизменно приезжал Митрополит Серафим с монахами Александроневской Лавры, певшими нам хором чудесное Слословие. После этого Родители собственноручно обносили их закуской и вином.

После страниц, посвященных Мама, я хочу вспомнить и Папа.

Он любил спартанскую жизнь, спал на походной постели с тюфяком из соломы, не знал ни халатов, ни ночных туфель и ел только раз в день по настоящему, заливая водой. Чай ему подавался в то время как он одевался, когда же он приходил к Мама, то ему подавали чашку кофе с молоком. Вечером, когда все ужинали, он опять пил чай и ел к нему иногда соленый огурец. Он не был игроком, не курил, не пил, не любил даже охоты; его единственной страстью была военная служба. Во время маневров, он мог непрерывно оставаться восемь часов подряд в седле, без того чтобы хоть закусить чемнибудь. В тот же день вечером, он появлялся свежим на балу, в то время как его свита валилась от усталости.

Его любимой одеждой был военный мундир без эполет, протертый на локтях от работы за письменным столом. Когда он вечерами приходил к Мама, он кутался в старую военную шинель, которая была на нем еще в Варшаве и которою он до конца своих дней покрывал ноги. При этом, он был щепетильно чисто-плотен и менял белье, как только переодевался. Единственная роскошь, которую он себе позволял, были шелковые носки, к которым он привык с детства. Он любил двигаться и его энергия никогда не ослабевала. Ежедневно, во время своей прогулки, он навещал



какое нибудь учреждение, госпиталь, гимназию или кадетский корпус, где он часто присутствовал на уроках, чтобы познакомиться с учителями или воспитателями. Кроме докладов министров и военных чинов, он принимал также и губернаторов, умея так поставить вопрос, что всегда узнавал правду. Он не выносил тунецев и лентяев. Всякие сплетни и скандалы вызывали в нем отвращение. Когда он узнавал, что какой нибудь сановник злоупотребил его доверием, у него поднималась желчь и ему приходилось слечь. Подобным образом действовали на него неудачные смотры или парады, когда ему приходилось разносить. То, что казалось в нем суровым или строгим, лежало в характере его безупречной личности, по существу очень несложной и добродушной.

## 1834 ГОД

Опять встают передо мной картины нашей детской жизни.

В память моего посещения монастыря в Новгороде, игуменья Шишкина подарила мне крестьянскую избу, внутренность которой была из стекла, а мебель расшита цветным бисером. Кукла с десятью платьями, изготовленными монахинями, находилась в ней. Почти одновременно с этим подарком, Папа подарил нам двухэтажный домик, который поставили в нашем детском зале. В нем не было крыши, для того, чтобы можно было без опасности зажигать лампы и подсвечники. Этот домик мы любили больше всех остальных игрушек. Это было наше царство, в котором мы, сестры, могли укрываться с подругами. Туда я пряталась, если

хотела быть одна, в то время как Мэри упражнялась на рояли, а Адени играла в какую-нибудь мною же придуманную игру. По возрасту я была между ними обеими: на три года моложе Мэри, на три старше Адени и часто чувствовала себя немного одинокой. Я начала уже отдаляться от мирка игр Адени, в то время, как не могла еще подойти к миру взрослых, к которому, в свои четырнадцать лет, уже принадлежала Мэри. Мои сестры были жизнерадостными и веселыми, я же серьезной и замкнутой. От природы уступчивая и стараясь угодить каждому, я часто подвергалась нападкам Мэри и высмеивалась ею, не умея защитить себя. Я казалась себе глупой и простоватой, плакала по ночам в мою подушку и стала представлять себе, что я совсем не настоящая дочь своих родителей, а подменена кормилицей моей молочной сестрой. Мадемуазель Дункер только способствовала моему одиночеству. Благодаря своему характеру, она мгновенно вспыхивала и сейчас-же передавала свое неудовольствие Юлии Барановой, которая в свою очередь, тотчас-же брала сторону своей воспитанницы Мэри. Вкрадывалась известная горечь и каждая оставалась со своей ученицей в своей комнате. Воспитатель Саши генерал Мердер, который был в хороших отношениях с Шарлоттой Дункер, умел меня подбодрить и влить в меня доверие к себе, говоря, что ни мое спокойствие и ни моя застенчивость отнюдь не значат, что я неспособна, но указывают на качества глубокой природы, которой нужно время чтобы развиться. Сходство моей природы с Сашиной, сделали то, что он был необычайно чуток и близок со мной.

В Детском зале, где стоял наш игрушечный домик, нас учила танцам Роз Колинетт, дебютировавшая в Малом Гатчинском театре. Мы упражнялись в гаво-те, менуэте и контрдансе вместе с Сашей и его сверстниками. После этого бывал совместный ужин и, вместо неизменного рыбного блюда с картофелем, нам давали суп, мясное блюдо и шоколадное сладкое. Зимой 1833 года эти веселые уроки прекратились, оттого, что Мэри исполнилось пятнадцать лет и она переселилась от нас в другие комнаты.

По обычаю, в одиннадцать лет я получила русское придворное платье из розового бархата вышитого лебедями, без трэна. На некоторых приемах, а также на большом балу, в день Ангела Папа, 6 декабря, мне было разрешено появляться в нем, в Белом Зале. Когда мы в него входили, все приглашенные уже стояли полукругом. Их Величества кланялись и подходили к Дипломатическому корпусу. Папа открывал бал полонезом, ведя старшую чином, даму Дипломатического Корпуса. В то время это была прелестная графиня Долли Фикельмон, жена австрийского посланника. За ними шли Мама с дядей Михаилом, затем я, под руку с графом Литга. Он был Оберкамергером, рыцарем Мальтийского Ордена и бежал в царствование Павла I из Италии в Россию. Человек этот был громадного роста и говорил низким басом, с сильным итальянским акцентом. В виду того, что он был Председателем Комиссии по постройке церквей, мне было велено навести разговор на эту тему, что я, с грехом пополам, и выполнила. В девять часов, когда начинался настоящий бал, я должна была уходить спать. Мне надлежало попрощаться с Мама, которая стояла в кругу стариков у ломберных столов. В то время как я повернулась чтобы уйти в сопровождении своего пажа (его звали Жерве и он был немногим старше меня) до меня донеслись слова Геккерна, нидерландского посла, обратившегося к Мама: «Как они прелестны оба! Держу пари, что перед сном они еще поиграют в куклы!» Я с моим пажом! Эта мысль показалась мне невероятной, стоявшей вне моих представлений. Этот Геккерн был приемным отцом Дантеса, убившего на дуэли нашего великого поэта Пушкина.

Этой зимой, во время Масленицы, при Дворе был устроен большой костюмированный бал, на тему сказки «Алладин и волшебная лампа». В Концертном зале был поставлен трон в восточном вкусе и галерея для тех, кто не танцевал. Зал был декорирован тканями ярких цветов, кусты и цветы освещались цветными лампами, волшебство этого убранства, буквально, захватывало дух. В то время, глазу еще непривычны были такие декорации, которые мы теперь видим на

каждой сцене. Мэри и я появились в застегнутых кафтанах, шароварах, в острых туфлях и с тюрбанами на головах; нам было разрешено идти за Мама в полонезе. Какой блеск, какая роскошь азиатских материй, камней, драгоценностей. Я могла смотреть и искренне предаться созерцанию всего этого волшебства, без того, чтобы надо было думать об обязанностях или правилах вежливости. Карлик с лампой, горбатый, с громадным носом был гвоздем вечера. Это был Григорий Волконский, сын министра Двора, будущий муж прелестной Марии Бенкендорф. Этот бал остался в моем воспоминании кульминационным пунктом зимы 1833 года.

Теперь как то трудно себе представить, как часто наш Двор менял свое местопребывание между маем и октябрём месяцем. Весной мы проводили несколько дней на Елагином, чтобы избежать уличной пыли, затем Царское Село, переезд на июль в Петергофский Летний Дворец и, наконец, из-за маневров, Гатчина или Ропша с ураганом светских обязанностей: приемы, балы, даже Французский театр в маленьком деревянном доме. Мы видели эту блестящую жизнь, конечно, в своем детском понимании, или когда мы сопровождали Родителей, или же, в свободные часы, на подоконниках и слушая доносившуюся к нам музыку.

1834-й год принес с собой конец нашей совместной детской жизни. Саша стал совершеннолетним (в шестнадцать лет по нашему Семейному закону) и вступил в общественную жизнь, после того, как присягнул как Наследник. Это была трогательная церемония, когда Саша, сопровождаемый Отцом, встал пред алтарем перед развернутым Знаменем и звонким голосом прочел текст Присяги. Этот торжественный день был отпразднован концертом церковной музыки. Вечером у Нарышкиных был бал Дворянства. Было лето. Через открытые окна видна была река с освещенными лодками; восторженные крики толпы доносились к нам, не хватало только присутствия в этот торжественный день Сашиного любимого воспитателя, генерала Мердера. По состоянию своего здоровья, он должен был уехать в Италию и, накануне, пришло известие об его

смерти, которое от нас скрыли, чтобы не омрачать нам торжества. Саша узнал об этом, неделю спустя, в Царском Селе и горько плакал о первом друге своей жизни. Его заменил Кавелин, а князь Ливен, до тех пор посол в Лондоне, был назначен опекуном. Еще серьезнее, чем до сих пор, Саша отдался наукам, к которым прибавились военная история и законоведение.

Весной этого года, с Нижнего Дуная, возвратился Киселев. Он пробыл там с самого окончания Турецкой кампании в 1828 году, чтобы привести в порядок эти прекрасные, богатые земли, так долго страдавшие под турецким ярмом. Еще теперь, после пятидесяти лет, Молдавия и Валахия, которые теперь принадлежат Румынии, вспоминают с благодарностью реформы Киселева, положившие начало их экономическому благосостоянию. Он, в свою очередь, любил этот край, его мягкость, синеву его небес, кроме того еще его удерживала там сердечная привязанность. Мне в то время было двенадцать лет. Как сейчас вижу его таким, каким он был, когда вернулся: красивый мужчина лет около сорока, с выразительными глазами, очаровывающий собеседника о чем бы он ни говорил. Совершенно независимый в своих взглядах, всегда полный блестящих идей, образованный и в то же время, всегда готовый научиться еще чему-нибудь, он, даже в разговорах с Папа, который с ним очень считался, сохранял свою независимость. Один из одареннейших деятелей тогдашнего царствования, с 1835 года он стал членом всех тайных комитетов, по крестьянскому вопросу. С этих пор, в течение пятнадцати лет, он оставался всегда дорогим гостем нашего дома. В разговорах с глазу на глаз, Папа любил противоречия, даже охотно вызывал на них и он, особенно, любил свободную манеру Киселева в разговорах.

Влечение Папа к тому, чтобы быть обо всем осведомленным и учиться новому, происходило от сознания, что те науки, которые он проходил в молодости, были недостаточны. Войны в начале столетия и его страсть ко всему военному, были тому виной. Совершенно неожиданно он вступил на Трон в 1825-м году. Он командовал в то время бригадой пехоты и понятия

не имел о правлении, о хозяйстве или законодательстве. Ввиду того что он прекрасно сознавал это, он направляет всю свою волю, всю энергию на то, чтобы окружить себя достойными людьми. Чтобы создать Свод Законов, вывести наше законодательство из тогдашнего хаоса, он призвал Сперанского и имел удовлетворение, видеть этот труд законченным еще в свое царствование. Его другой большой заботой было улучшение судьбы крестьян. Киселев явился главным его сотрудником в этой области. 26 декабря 1837 года он был поставлен во главе нового Министерства Государственных Имуществ, в ведение которого поступили все казенные крестьяне; он оставался на этом посту до 1856 года, когда был назначен послом в Париж.

Я не могу судить о том, были ли его реформы удачными или нет. С невероятным трудом и отчаянной решимостью он проводил их в жизнь, встречая всевозможные препятствия, как например, глубокоукоренившееся предубеждение и злобу тех, чьи интересы были затронуты, а также отрицательное отношение со стороны остальных министров. Думаю, что управление имениями тети Елены, в которых, согласно плану Киселева, проводились приготовления к освобождению крестьян, подтверждает, что таковые могли быть проведены только благодаря личной инициативе и на ограниченном пространстве, так как масса, без определенного водительства, в своем большинстве, не может понять, что значат такие реформы. Во всяком случае Папа, несмотря на все свое могущество и бесстрашие, боялся тех сдвигов, которые могли из этого вылиться.

Осенью 1834 года Мама с Мэри отправились в Берлин. Все мы остальные были поручены в Царском Селе попечению нашего дорогого князя Александра Голицына и княгини Ливен, супруги бывшего посла при английском Дворе. Последняя должна была стать во главе салона Саши и отшлифовать его речь, а также манеры. Это на первых порах ей совершенно не удавалось. Она говорила только о политике, от которой благодаря нашему воспитанию, мы были очень далеки. Когда мы приходили к чаю, некоторые старые господа, сидевшие вокруг княгини, говорили о Талейране,

Веллингтоне, о революционном движении на Балканах, о Марии ди Глория и других вещах, которыми были в то время полны газеты, и все это отдавалось пустым звуком в наших ушах. Как только чай бывал кончен, Саша отодвигал свой стул и стремительно бежал к столу молодежи, предоставляя всех Тори, Мигуэлистов и Карлистов их судьбе, в то время как он сам, с упоением отдавался игре в «Трубочиста» и смеху, становившемуся тем заразительнее, чем больше мы боялись гнева Княгини. Будучи умной женщиной, она вскоре переменяла свой метод и стала устраивать для Саши танцевальные вечера в Александровском Дворце, в то время, как ее политические партнеры приглашались к ней уже частным образом.

В ноябре, Папа привез из Берлина домой Мама с Мэри. Мэри получила, по возвращении, свою собственную квартиру, покинула наш флигель и переехала поблизости к Саше. В Берлине с ней обращались как с взрослой, ввиду того, что там принцессы в пятнадцать лет после конфирмации, переходят из рук воспитательниц в руки придворных дам. Мадам Баранова получила орден Св. Екатерины и Матвей Виельгорский был назначен Шталмейстером, ввиду приемов и представлений, в которых Мэри должна была принимать участие. Она похорошела, бабочка выпорхнула из кокона. Ее сходство с Папа сказывалось теперь особенно, профиль к профилю она казалась его миниатюрой. И она стала его любимицей, веселая, жизнерадостная, обаятельная в своей любезности. Очень естественная, она не выносила никакой позы и никакого насилия. Ее ярко выраженная своеобразность позволяла ей всюду пренебрегать этикетом, но делала она это с такой женской обаятельностью что ей все прощалось. Переменяя в своих чувствах, жесткая, но сейчас же могущая стать необыкновенно мягкой, безрассудно следуя порыву, она могла флиртовать до потери сознания и доставляла своим поведением часто страх и заботы Мама. Сама еще молодая, она радовалась успеху Дочери, испытывая в то же время страх перед будущностью Мэри. Последняя объявила, что никогда не покинет Отечества. За кого то она выйдет замуж?

Здесь я хочу, забегая много вперед, разъяснить натуру Мэри. Когда в 1866 вспыхнула грустная братоубийственная война между Северной и Южной Германией, нам было предназначено держаться Австрии. Тут я получаю от Мэри письмо, полное упреков, в котором она обвиняла меня в том, что я отрекаюсь от родины Мама, что я вероломна, словом, задела меня и обидела, как только было можно. Я ответила ей, что наши мнения и взгляды очевидно разные и что лучше всего было бы это не затрагивать, пока длится война. Это было в июне. В августе был заключен Никольбургский мир и подтверждены наши тайные договоры с Россией. В это время я должна была, из соображений здоровья, поехать в Остендэ. В один прекрасный вечер во время чая, когда мы с Верой (дочерью моего брата Константина) и ее гувернанткой, с Цезарем Берольдинген, Владимиром Фредерикс и другими, сидели за столом, мы услышали оживленные голоса за дверью, которая запахнулась и — Мэри ворвалась в комнату и в слезах бросилась мне на шею: «Прости меня, Олли! Я прямо из Петербурга, чтобы обнять тебя». Как можно было ее не любить?

В 1834 году, нас посетил наш дядя, Принц Оранский со своим старшим сыном (теперешним Королем Вильгельмом Нидерландским). Принц, который в свое время был адъютантом герцога Веллингтона, был очень хорош собой, к тому же овеян ореолом военных успехов. Он и его супруга, принцесса Шарлотта, великосветская дама, говорившая по французски, как парижанка, имели все данные, чтобы понравиться в Петербурге. Сын же, семнадцати лет, был настоящий остопок. Как кузен и товарищ детских игр, каким он являлся, он проводил многие часы в наших комнатах. Он был влюблен в Мэри. Когда его отсылали, под предлогом, что нам надо учиться, он прятался между двойными дверьми наших комнат. После каждого долгого молчания, позволявшего ему заключить, что урок кончился, он неожиданно у нас появлялся. Только в случаях, когда на урок приходил Батюшка, его удавалось окончательно удалить. Он боялся одежды и бороды последнего. Точно такое же действие производила на него вос-



питательница Адени, Мисс Броун, которую он, к тому же, находил глупой. Однажды он бросил ей в лицо нашу болонку, разозлившись на то, что она выбрала его партнером во время игры в «Молчание». Она должна была это сделать поневоле, оттого, что он был последним. Никто не хотел с ним иметь дела, постоянно приходилось его удалять насильно и когда его воспитатели брали его под руки, он награждал их пинками ног. Я думаю, он царапался бы, если бы это было возможно. История с Мисс Броун и болонкой дошла до ушей его отца. Он получил 24 часа домашнего ареста. Когда он вновь появился, он стал еще невыносимее. Во время игры в серсо он втыкал булавки, о которые мы кололись, и когда утомленные игрой, мы хотели отдышаться, он лил нам воду на затылок. Наконец, чаша переполнилась и мы серьезно пожаловались Папа. Тот решил, что молодой человек, вместо того, чтобы сидеть за детским столом, будет отныне сидеть со взрослыми. Эта честь только разозлила его. Принц Оранский признался, что ничего не понимает в воспитании, но он, тем не менее, противился всему, что в этом отношении решала его жена. Супруги жили несчастливой семейной жизнью.

В августе 1833 года в Петербурге была построена Александровская колонна и через год в августе следующего года освящена. Это было оба раза поводом к большим торжествам, которым Папа отдавался всей душой. Он любил такие церемониальные всенародные торжества и умел их обставлять так хорошо и с таким блеском, что воспоминание о них оставалось еще долго. Все торжества последующего времени казались мне потом только неудачным подражанием предшествующей эпохи.

Мой отец имел, по словам одного французского маршала, «*le physique du métier*». Его большой рост, его строгий профиль вырисовывались резко на светлой синеве неба. Движения, походка, низкий голос — все в нем было созвучно: спокойно, просто, властно. Надо было видеть наших родителей, будь то в торжественных случаях в парадных нарядах, или рука об руку гуляющими под деревьями нашего Летнего дворца,



**Наследник Цесаревич Александр Николаевич.**



чтобы понять, как мы гордились ими, и с нами весь русский народ.

## 1835 ГОД.

Зима началась весело, были празднества, даже для нас, детей, и между ними так называемый праздник бобов с орденами и подарками, на котором Адини и Кости появились как бобовые королева и король, с пудреными волосами и в костюмах прошлой эпохи. Была и перемена в придворных дамах этой зимы. Софи Урусова, которую Мама очень ценила, вышла замуж за адъютанта Леона Радзивилла. Она была красавица, энергичная, высокого роста, с чудесным голосом альтового тембра и за ее холодной внешностью скрывалась страстная натура. Немногие рисковали приблизиться к ней ввиду того, что был пущен слух о том, что Папа к ней неравнодушен. Это было неправдой. Никто другой, кроме Мама, никогда не волновал его чувств и это в такой исключительной степени, что многим они казались просто чрезмерной добросовестностью.

В это время, при Дворе появились три сестры Бородины, сироты, дети очень уважаемого отца и совершенно невозможной матери. Ольга, старшая, была хороша собой, глуповата, но очень добра. За ней следовала Настенька, которая была красивее и пела приятным голосом романсы. Натали, младшая, была назначена ко мне. Она тоже была музыкальна и мы много играли в четыре руки; на музыкальных вечерах, она аккомпанировала пению. Чистенькая и аккуратная, неуравновешенно веселая, она уже смолоду была старой девой и иногда докучала мне своим нравоучительным

тоном. Она была дружна с Алексеем Фредерикс и вместе с ним составляла пару самую благоразумную в целом окружении Мэри. Ольга Бородина вышла замуж уже немолодой за шестидесятилетнего генерала Мосолова, который был богат и ужасен. Настенька вышла замуж за Урусова, Натали поступила после моего замужества в 1846 году дежурной фрейлиной. Ей было за тридцать, что ей не помешало влюбиться в профессора естественных наук, бывавшего у Виельгорских. Это кончилось тем, что в 1850 году она вышла за него замуж, чем привела в изумление всех друзей, считавших, до той поры, Натали благоразумной. Этот брак был неудачен. Профессор нашел плохо оплачиваемый пост корреспондента Министерства Финансов в Лондоне, они жили в очень тяжелых условиях, почти в нужде. Один за другим стали появляться дети. Натали умерла в нищете. Я сомневаюсь теперь, была ли она в какой-либо степени счастлива.

После замужества Настеньки Бородиной, Мама стала искать даму с хорошим голосом, чтобы заменить ее. Ей называли Полину Бартеневу из Москвы, и правда, у нее был голос соловья, нежный, совершенно чистый и бравший без труда верхние ноты на головокружительной высоте. Ее музыкальная чуткость была очень тонкой. Она была незаменима во всех благотворительных концертах и могла в самом деле выступать наравне с первоклассными артистами. Без особых репетиций, пела точно так же свободно итальянские арии в опере, как и классическую духовную музыку. Ее отец, происхождением из незначительного московского дворянства, как человек, был полным нулем. О нем ничего не было известно, кроме того что у него было десять человек детей. Благодаря своей чрезмерной нежности, мать возила их за собою повсюду. Если она делала визиты, их всех закидывали в большую деревенскую коляску и они должны были ждать свою мать или на пороге гостиницы или на ступеньках крыльца. Если она посещала балы, — дети посылались на хоры, откуда они могли наблюдать за танцами, пока не засыпали. При подобном воспитании, Полина не научилась ничему, кроме немного французского языка да еще танцам.

После смерти своей матери, без гроша денег, она была принуждена заботиться о девяти остальных детях. С необычайными усилиями, терпением и добротой это удалось ей, главным образом благодаря ее связям. В конце концов все они были устроены, частью в кадетских корпусах, частью в женских институтах.

Весной этого года мои родители поехали на короткое время в Москву и навестили окрестное дворянство в их имениях. Они взяли с собой Адина и Кости.

Во время этой поездки, Литке влюбился в Мисс Броун, на которой он потом и женился. По возвращении, Адина рассказывала нам что это были лучшие дни ее жизни. Она была совершенно предоставлена самой себе, в виду того что влюбленные никого и ничего, кроме себя самих, не видели.

Летом приехала тетя Луиза, любимая сестра Мама. Она приехала со своим мужем дядей Фрицем Нидерландским. Они поселились у нас в Петергофе. Дядю Фрица мы знали по его прелестным письмам, которые были полны яркими и веселыми подробностями о жизни в Голландии. Тетя Луиза походила на Мама, она была только немного полнее, но такая же доброжелательная, уступчивая и необычайно музыкальная. Она играла по слуху все, что угодно, а так-же говорила хорошо по французски, что, вообще, не было принято в Прусской семье.

В августе, мы погрузились на пароход, чтобы отправиться в Данциг. Король Прусский выразил свое сожаление по поводу того, что ввиду своего преклонного возраста он не мог присутствовать при освящении Александровской колонны и таким образом видеть русские войска, своих верных союзников по 1814-му году. Специальная депутация привезла эту весть. В Папа это пробудило мысль устроить большую встречу, которая состоялась в Калише в 1835 году. Об этом много писалось в свое время: воспоминания актера и чтеца при Дворе, Шнейдера, прекрасно уловили и живо передали это событие. Для меня, тринадцатилетней девочки, это были незабываемые, но не всегда приятные впечатления. В этой массе принцев и принцесс, я, которая всегда была несколько позади, видела и слышала

вещи, которые меня обижали и открыли глаза на истинные чувства, которые питались по отношению России. Вокруг Папа — только восхищение на самых высоких тонах. А в последних рядах — насмешки, критика и зависть. Дедушка, Король Прусский, был искренне счастлив видеть русские войска, вызывавшие в нем воспоминания молодости и славы. Он был необычайно благодарен Папа, но празднества утомляли его и его окружение боялось серьезных последствий.

Дедушка выписал из Берлина труппу актеров, чтобы иметь свой привычный отдых. Ежевечерне он шел в театр спать во время представлений, чтобы в перерывах разговаривать с актерами. Я видела Гаген в пьесе «Деревенская простота», супругов Тальони в Падде-Де, наконец испанских танцоров, целую труппу, танцевавшую дикие танцы во время которых ноги только и делали что мелькали в воздухе. Во время одного из парадов, Мама вела кавалергардов в таком блестящем порядке, что привела в восторг дедушку. Она была в парадной форме и с белой фуражкой на голове.

Парады, маневры, обеды и балы закончились грандиозным фейерверком, во время которого пускались, вновь изобретенные, пестрые ракеты. Музыка, пение, шум, свет, потом снова темная ночь, все это, Бог весть почему, вызвало во мне необъяснимую грусть. Откуда она появилась, я не смогла бы объяснить, и никогда этого не понимала.

Чтобы немного отдохнуть, Мама поехала на несколько дней к тете Марьянне. (Она была супругой принца Вильгельма Прусского, урожденная принцесса Гомбург-Гессенская и приходилась Прусскому Королю Фридриху Вильгельму III-му невесткой). Она жила в Фишбах, в прелестной стране Силезии, у подножия гор. Мама не была там с 1813 года. Тетя Марьянна несомненно была самым привлекательным воплощением «немецкой женщины». Очень строгая к себе самой, она была крайне снисходительна к своим ближним. Ее взгляды в вопросах религии и политики были мягкими, но устойчивыми, без страстности. Для Мама после смерти Королевы Луизы, она была заместитель-

ницей матери. Так же как та, тетя Марьянна была во время войны примером для дам Берлина, благодаря своей постоянной всем помощи и своему бесстрашию. Она дружила и была в переписке со всеми известными людьми того времени, влияя на них, без того, чтобы быть на виду. Она почти не бывала в обществе; зато, к ней постоянно все приезжали, привлеченные ее умом, добротой и тем священным огнем, который зажгли в ее прекрасной душе жизненные испытания. Так и меня невольно тянуло к ней, хотя и я не сознавала, почему именно. Я часами могла сидеть в оконной нише у ее ног, в то время, как она говорила с Мама. Тогда она была еще красивой женщиной, — высокая, с повелительной осанкой, всегда очень скромно одетая. Я никогда не видела ее в большом туалете. Она носила вокруг головы рюш, втыкала в волосы перед обедом свежий цветок; вместо драгоценностей она носила крест или другое старое очень простое украшение. У нее были каштановые волосы, темные красивые глаза и низкий медленный голос. В моих воспоминаниях, Фишбах сохранился как рай.

Неподалеку отсюда был Бухберг. Там жила княгиня Радзивилл, сестра Принца Луи-Фердинанда Прусского, к которой все относились с большим уважением, в память ее покойной дочери Элизы. Дядя Вильгельм (теперешний Император Вильгельм I), в течение пяти лет, был с ней помолвлен. Это было серьезное и глубокое чувство. Кроме того, Радзивиллы были прекрасной и вполне ему подходящей семьей. Бона Радзивилл была королевой Польши, даже католическая религия не была помехой для брака, но в один прекрасный день врачи заявили, что Кронпринцесса, жена Фридриха-Вильгельма IV, никогда не сможет иметь детей. Тут дед, Король Фридрих-Вильгельм III, после пятилетнего ожидания, взял свое согласие на брак обратно, он не хотел видеть на троне Пруссии королеву-католичку. Вскоре после этого, Элиза умерла, а от перенесенного горя, дядя Вильгельм страдал всю жизнь, женившись без всякой любви, на первой-же невесте, которую ему предложили.

Это была Августа Веймарнская, заслужившая



лучшую долю. В то время, она хворала камнями в печени. От этой болезни она потом и умерла. Она однако была еще очень подвижной и объясняла нам, на своем берлинском языке, многочисленные литографии членов семьи, украшавшие ее комнаты.

У помещиков окрестных имений, к которым мы ездили в гости, не было детей моего возраста. Адальтберт же и Вольдемар, сыновья тети Марьянны, были мне не по душе ввиду того, что они, как кузены, обращались со мной, на мой взгляд, слишком свободно. Елизавета, старшая дочь, была хорошей, но какой-то доморощенной, не вызывавшей во мне особенных симпатий, тогда как младшая, Марихен, прелестный ребенок восьми лет, дружила с Костей. Чтобы не быть совершенно одной, я часто навещала молодых фрейлин, что укрепило за мной репутацию того, что я очень люблю общение со старшими.

В сентябре, мы двинулись в Теплиц, где должен был быть освящен памятник, в 22-ую годовщину битвы при Кульме. Из монархов Священного Союза был в живых только один Фридрих-Вильгельм III-й, но Папа очень чтит усвоенные им старые традиции. В то время, как он совершенно не разделял мнения Императора Александра I-го о конгрессах, он поддерживал личный контакт с монархами. Поэтому то он и прибыл в Теплиц и Мюнхгрэц, где, до того, уже встретились для политических переговоров Нессельродэ и Меттерних.

Чтобы избежать беспорядка во время поездки в Теплиц, все экипажи были нумерованы; я с мадемуазель Дункер и нашими обеими камерфрау ехала в экипаже № 9. Адъютант Короля, Тюмен, был ответствен за путешествие. Во то время, как меняли лошадей, он выскакивал из коляски и следил за тем, как их распрягали и впрягали. Он заботился также о том, что нам подавали на стол, следил даже за картофельным пюре и за тем, чтобы не забыли подать бруснику к ди-кой козе — любимому кушанью Мама.

На австрийской границе, нас встретил принц Альфред Виндишгрэц, грансеньер старой школы с изысканными манерами. Мама, привыкшая к быстрым и

точным действиям Тюмена, удивлялась тому, как Виндишгрэц на почтовых станциях, сидя в коляске, давал приказания почтмейстеру через своего камердинера. Во время последней смены лошадей перед Теплицем, родители взяли меня к себе в коляску. Папа был в парадной форме Лейб-Гусар, Мама в васильковом платье с большой шляпой в перьях. В Теплице мы остановились во дворце графа Клари, где был назначен большой прием. Там нас ждала Императорская Чета: бедный Фердинанд, поддерживаемый Клам Галлас, который воспитывался с ним, с одной стороны, с другой — Меттерних, суфлирующий ему, Императрица Марьянна, прекрасная, красавица с выражением святой на лице. Она вышла замуж за своего слабоумного мужа из призывания и по священной обязанности, вместо того, чтобы, как она хотела, пойти в монастырь. Я была как потерянная в этой массе незнакомых людей: у моих родителей не было возможности заниматься мной. Маленький, очень некрасивый человек в австрийской генеральской форме представился мне и отвел меня к своей дочери. Это был Эрцгерцог Карл, герой Асперна, а его дочь Тереза, будущая королева Неаполя. Его отецская доброта тотчас же покорила мое сердце. Я была его соседкой по столу во время всего нашего пребывания там. Он говорил совсем просто, рассказывал ли он или же расспрашивал о нашей жизни и Папа, так что я в конце концов совсем оттаяла и чувствовала себя прекрасно в его обществе.

Нас было там пять барышень: Тереза Нассауская, будущая принцесса Ольденбургская, девятнадцати лет, большая, тонкая, с длинным носом, длинными зубами и дивными волосами, остроумная, ядовитая, всегда знающая, чего она хочет, но недобрая; затем Эльхен, дочь тети Марьянны, о которой я уже упоминала; потом Мари Альтенбургская, семнадцати лет, с круглым, свежим лицом, всегда готовая смеяться, всегда удивительно ровная в настроениях, но без особой выдержки, совершенно немецкая принцесса при маленьком Дворе. В свои тринадцать лет я была такой длинной, что меня уже считали барышней, а не ребенком; но лицо мое было еще по-детски округло и по детски же смотрели

глаза под светлыми ресницами. Волосы мне зачесывали назад, где их заплетали в косу; никаких украшений, кроме простой нитки жемчуга и два платья из белого муслина, совершенно скромные, чтобы менять одно на другое. Таковым же было и мое внутреннее содержание: ребяческое, несложное, без особенного ума, а потому я не имела особого успеха.

Там, у меня с моей воспитательницей были две комнаты. Одна из них была оклеена оранжевыми обоями с вырезанными и затем наклеенными фигурами из модных журналов. Наши постели стояли в алькове, остальная часть комнаты была салоном. Ввиду того, что он был расположен в нижнем этаже, молодежь собиралась у нас. Помнится мне, как в один прекрасный день после обеда, все мы пятеро, сидели смеясь и дуря на полу моего салона. Вдруг неожиданно доложили о визите тети Марии Веймарнской, старшей сестры Папа. Одной из нас посчастливилось во время убежать, две спрятались в алькове, а четвертая за занавесью, и в это время как всегда медленно и внушительно, появилась тетя. Она начала разговор, который поддерживался исключительно мадемуазель Дункер без меня, так как я просто умирала со смеху и при первом же слове непременно прыснула бы. Тетя, наконец, покинула нас, не преминув заметить: «Моя племянница, право, очень, застенчивая». Не успела дверь за ней закрыться, как вся молодежь выскочила из своих углов и начала кататься от придушенного смеха.

Этот припадок веселья продолжался до вечера, когда были назначены танцы в Курзале. Взяли и меня, но это было единственный раз. Оба Эрцгерцога, Альбрехт и Фердинанд, пригласили меня танцевать, затем прусские кузены, и, наконец, Альбер, принц Кобургский, который считался красавцем. Я нашла его скучным и натянутым. Он хотел научить меня вальсу, но я предпочла танцевать галоп с Эрцгерцогом Альбрехтом.

Во время визитов, которые делала Мама и в которых я ее сопровождала, мы ездили к Герцогине де Лука, сестре-близнецу Императрицы. Она также была очень хороша почти неземной красотой и, как говорили, очень несчастлива. Обе эти сестры готовились по-

святить себя Богу и вступили в брак только из покорности своему духовнику. Императрица несла свой крест, исполняя долг как сестра милосердия. Все вокруг Престола и в стране благословляли ее. Герцогиня де Лукка, муж которой изменял ей, не смела даже заботиться о воспитании своего единственного сына и жила строгой монастырской жизнью, над которой ее муж только глумился. Это супружество вызывало сожаление тети Марьянны. Она была в высшей степени терпимой и требовала, чтобы и другие были такими же. Герцог говорил с ней о вопросах религии и критиковал злоупотребления чисто-внешнего характера, к которым прибегала католическая Церковь. Он уверял, что только в протестантстве он находит ту правду, которой жаждет его душа. Однако, уже несколько месяцев спустя, герцог, как рассказывали, изучал еврейский язык у ног какой-то прекрасной еврейки. Он живет по сей день в Ницце, титулуется герцогом де Вилла Франка, не имея ни семьи, ни религии, ни трона, ни раскаянья в душе.

Кого бы мне еще упомянуть? Может быть Эрцгерцога Франца Карла, брата Императора Фердинанда, менее отталкивающего чем тот, но такого же слабоумного. Это его принудили в 1848 году отказаться от трона в пользу своего сына Франца Иосифа. Или Эрцгерцога Иоганна, настоящего Габсбурга, лысого, с узким черепом, на вид добродушного, но не без хитрецы. Он предпочитал носить обывательскую одежду и жил в горах, которые обходил с палкой в руках. Говорили, будто бы он тайно повенчан с дочерью одного трактирщика, которая однажды везла его вместо почтальона. Сын от этого брака, будто бы, назывался графом Меранским. Или Густав Ваза, человек с красивым лицом, но безо всякого выражения, который запомнился мне только потому, что появился в один прекрасный день безо всякого приглашения у тети Марьянны в Силезии и был очень холодно принят.

Герцогиня Альтенбургская и супруга Палатина, наместника венгерского короля, которым в то время был Эрцгерцог Иосиф, женатый первым браком на сестре Папа (две сестры из Дома Вюртемберг были кузи-

нами моих родителей и говорили им «ты» по немецкому обычаю. Обе они были некрасивы, но прекрасно сложены. Паулина же Нассауская, тоже из Дома Вюртемберг, была напротив хороша и свежа как роза, при чем она выглядела много моложе, чем ее невестка Тереза, которая из-за глухоты, держала постоянно рот открытым. Королева Нидерландская Анна, тоже сестра Папа, навестила нас, возвращаясь с какого-то курорта, где лечилась. Я видела ее только раз во время какого-то приема в желтом платье, усеянном жемчугом и брильянтами.

Со своим надменным лицом и холодным взглядом, она была совершенно непохожа на Папа. Кажется, она была в плохом настроении, но вообще ее побаивались, в то время как тетя Мария Веймарская, тоже сестра Папа, всеми уважалась, несмотря на свою некоторую неповоротливость.

После пребывания в Теплице, мы поехали в Прагу. Я жила вместе с Родителями на Градчине, откуда был прекраснейший вид на город и Молдаву. Вид этот напоминал мне Москву, тем более, что тут веяло славянским воздухом, который можно только чувствовать, но невозможно передать. Императрица Мария-Анна сама представляла нам дам высшего дворянства, носительниц исторических имен, как например Туун, Вальдштейн, Шварценберг, Кэвенхюллер, Лобковиц, Ностиц и т. д. Предпринимались загородные поездки; незабываемым остался один визит в Тетшен, знаменитый замок Туун на саксонской границе. Был чудесный сентябрьский день, особенно мне запомнившийся оттого, что в этот день я впервые извела пьянящее чувство поклонения, как только это можно переживать в тринадцать лет. Это поклонение вызвала во мне Тереза Австрийская. Я не могла отвести от нее глаз, мое общество не докучало ей, мы поклялись друг другу в дружбе и она пообещала мне писать.

Эрцгерцоги все были своеобразными, чуждыми всякого шаблона, не такими как прусские кузены. Меня тянуло к ним. Хотя я и не сознавала этого, но чувствовала себя с ними более свободной чем даже в Петербурге с его многими прусскими обычаями. Уже

один гимн «Господь, сохрани Франца Императора», военная музыка, все это игралось с таким настроением, что поневоле захватывало.

Мне думается, что эти первые детские впечатления наложили отпечаток на всю мою жизнь. Когда Саша в 1838 году написал нам из Вены о возможности брака между мной и Эрцгерцогом Стефаном (сыном Венгерского Палатина), мне это показалось призывом к священной миссии: объединение славянских церквей под защитой и благословением той Святой, имя которой я носила.

В свое время, я расскажу об истории моего замужества и того, что ему предшествовало; но тут я сразу скажу, что то увлечение, которое я испытывала, не помешало мне признать, что только тот союз, который создан на личной симпатии и доверии, может подходить для меня и что не положение, а только человеческие достоинства были в состоянии завоевать мое сердце.

Перед возвращением в Россию, Мама снова сделала небольшой визит в Фишбах, чтобы еще раз, спокойно, обменяться впечатлениями от поездки с тетей Марьянной. Папа спешил домой, не останавливаясь ни днем, ни ночью, чтобы успеть к смотрам. Перед этим, он еще раз, неожиданно, появился в Вене, чтобы навестить вдовствующую Императрицу Каролину, а так-же Эрцгерцогиню Софию, мать последующего Императора Франца-Иосифа. Последняя очень ему нравилась и это было взаимно.

Мы с Мама ехали только днем. Как только начинало темнеть, на новом шоссе, между Варшавой и Вильно, с обеих сторон, на опушках леса, зажигались костры, которые освещали дорогу.

Мама находила, что я стала менее молчаливой. Та масса впечатлений, которые я пережила, сделали меня более общительной. В экипаже, пока Мама читала, я заучивала исторические даты, по картинкам Жуковского. Когда наступала ночь, мы вместе декламировали стихи Шиллера, которые мама, от своих юных дней, знала наизусть. Время летело.

По моем возвращении, благодаря моим впечатле-

ниям и моему знанию заграницы, я стала для братьев и сестер, даже для Мэри, существом, с которым нужно считаться. Мадемуазель Дункер вернулась домой довольной и в хорошем настроении: она завела массу знакомств, всюду ее приглашали и прекрасно принимали. В Петербурге она никогда никуда не выезжала. У нее не было даже родных, кроме ее матери, которую она — я никогда не узнала из каких соображений — не смела навещать. Поэтому совершенно неудивительно, что все тепло и вся любовь, к которой было способно ее сердце, направлены были на меня и что она, совершенно подсознательно, отгораживала меня от остальных. Мэри не питала к ней не малейшей симпатии и неизменно при каждом удобном случае заставляла ее это чувствовать. Юлия Баранова была не в силах что-либо предпринять против этого; за дерзостями следовало то, что каждый оставался в своем углу. — В учении я сделала колоссальные успехи: только на полгода я отставала от Мэри, которой было уже шестнадцать лет. Учителям видимо доставляло радость подвигать меня так быстро, и чем дальше я шла в ученьи, тем усерднее я становилась.

Но я совсем не чувствовала себя счастливой. Мое существо становилось скорее еще более замкнутым, моя склонность к религии обращалась в мистику. Если бы это продолжалось еще дольше, я совершенно замкнулась бы в своих четырех стенах. Мама первая обратила на это внимание. Она стала расспрашивать. Мэри, всегда перекипающая через борт, не пожалела жалоб. Попробовали обратиться к Шарлотте Дункер, для чего избрали Баранову, которая была слишком неумна, для того, чтобы успешно провести такую роль. Но родители относились к ней очень хорошо, благодаря ее приятной незлобивой натуре. Слушали, правда, и нас, но без того, чтобы вникать в мелочи. Таким образом многое являлось в ложном свете. Шарлотта, которую в свое время поддерживал и которой давал советы генерал Мердер, оставалась теперь совершенно одна и оттого, что она чувствовала себя отодвинутой на задний план, она стала вспыльчивой и склонной к сценам. Папа услышал об этом, и решил, что нужно нас разъеди-

нить. Он не любил половинных мер и считал, что только радикальное решение может восстановить мир в детских. Это решение было вызвано следующим:

Был август 1836 года. Мы возвратились с Елагина в Петергоф. Жюли оставалась из-за болезни в Смольном. Нас, трех сестер, поручили Шарлотте и мы все вместе ежедневно предпринимали поездки в фаятоне. Мэри, которая хорошо знала расположение, давала указания экипажу и направляла его в Новую Деревню, где расположена была гвардейская кавалерия. Как только появлялся царский экипаж, дежурные офицеры должны были его приветствовать. Для нас, детей, это не играло роли; Мэри же не была больше ребенком. Когда мы ездили под присмотром Жюли, Мэри научила нас толкать ее ногой, если издали появлялся ктонибудь знакомый. В таком случае Мэри сейчас же поворачивала голову в противоположную сторону и обращала внимание Жюли на чтонибудь там, и когда экипаж был достаточно близко от знакомого, ему посылались приветствия и улыбки, в то время как Жюли все еще смотрела в противоположную сторону. Это проделывалось ежедневно и Жюли не догадывалась об этой шалости. То же самое Мэри попробовала было с Шарлоттой. Но та заявила, что совершенно не нужно ежедневно ездить через Новую Деревню и запретила нам, младшим сестрам, толкаться ногами в коляске.

Это кончилось сценой и слезами с обеих сторон, Шарлотте не удалось справиться со своим волнением, всем было заметно это возбуждение. Ночь она еще переспала с нами, но на следующий день, когда я проснулась, она не появилась, как не появилась и к завтраку, и когда ее не оказалось, чтобы идти гулять, меня охватило недоброе предчувствие. Я вихрем взлетела по лестнице в комнату, где она обычно одевалась и нашла там ее шиньон, ее лорнет, ее шелковое фишко, все разбросанным в беспорядке, точно она куда-то торопилась. Тут я разразилась слезами. Мэри стояла подле очень смущенная, Адини же ничего не понимала и была в замешательстве. Я знаю, что в глубине своего сердца Мэри упрекала себя в том, что так меня огорчила. Перед тем, как мы должны были выйти, ме-



ня позвали к Мама. Когда она увидела мое заплаканное лицо, Мама удержалась от того, чтобы сказать мне, что эта разлука была необходима. К этой мысли Мама хотела подготовить меня постепенно. И все же никто не сумел понять, насколько я любила свою Шарлотту и насколько была к ней привязана.

Мама оставила меня у себя, окружила вниманием и лаской и ждала пока я заговорю, чтобы все разъяснить мне. Я обожала свою мать, но в эту минуту мое сердце разрывалось на части и я не смогла ничего сказать. Через несколько дней наконец Мама передала мне маленькое письмо, благословила меня и сказала нежно: «Прочитай его перед сном!» Я сохранила его в моем молитвеннике. В нем было все, что я уже предчувствовала, что я боялась узнать. Решение родителей мне показалось ужасным; но раз они так постановили, значит, они были правы и мне не оставалось ничего другого, как покориться. Мама была очень мила ко мне и посвящала мне, ввиду отсутствия Папа, все свое время. Я могла спать с ней, мы вместе гуляли и в туалетной комнате Папа происходили мои занятия. Мама подарила мне собаку Дэнди, неразлучного со мной вплоть до моего замужества. Как гувернантку взяла на пробу Мадам Дудину, Начальницу одного Приюта. Ослепленная жизнью при Дворе, до сих пор ей непривычной, она спрашивала всех и вся, что это или то обозначает. Ее мещанская манера и ее неразвитость давили меня и в то время пока она была у нас, я привязалась к Авроре Стьерньевард, которая как раз была назначена фрейлиной. Дочь шведа отца и матери финляндки из Гельсинфорса, она была необычайной красоты, как физически, так и духовно, что сияло в ее красивых глазах. Когда она говорила о лесах, скалах и озерах своей родины, все в ней светилось. Ее взгляд и осанка говорили о гордости и независимости, она была настоящей скандинавкой. Поль Демидов, богатый, но несимпатичный человек, хотел на ней жениться. Два раза она отказала ему, но это не смущало его и он продолжал добиваться ее руки. Только после того, как Мама поговорила с ней, она сдалась. «Подумай, сколько добра ты сможешь делать». Этими словами Мама

окончательно убедила ее. В день своей свадьбы она подарила мне «слезу своего сердца», маленькое черное эмалевое сердце с брильянтом, которое я бережно храню. Во втором браке она была замужем за Андреем Карамзинным, на этот раз по любви. Но счастьем ее не суждено было долго длиться. В 1854 году Андрей пал смертью храбрых у Силистрии. Оставшись вдовой, она нашла утешение в том, что делала добро, где только могла.

Мадам Дудина оставалась при мне только несколько недель. Накануне Николина дня, 5 декабря, у меня появилась Анна Алексеевна Окулова и с ней началась моя новая эра жизни. Выбор Анны Алексеевны был сделан Папа. Когда она была институткой Екатеринбургского Института в Петербурге, ее уже знала Бабушка, очень ценила и оказала ей, во время своей поездки в Москву, какое то благодеяние. Папа помнил ее веселое, открытое лицо. Она жила со своей семьей в деревне и, ввиду того, что были затруднения денежного характера, заботилась об управлении имением и воспитании своих младших братьев и сестер. Все уважали ее энергию и предприимчивость. Чтобы избежать всяких неожиданностей и неприятностей, ее положение при Дворе, а также ее доходы, были с самого начала утверждены. Ее сделали фрейлиной, по рангу она следовала за статсдамами и получила, как Жюли Баранова, русское платье синего цвета с золотом, собственный выезд и ложу в театре. Я встретила ее впервые на одном музыкальном вечере Мама. Она сейчас же покорила мое сердце. Мне показалось что повеяло свежим воздухом в до сих пор закрытую комнату. Она совершенно изменила меня. Ей сейчас же бросилось в глаза, какая я замкнутая и насколько лучше я могла писать, чем изъясняться и она мне предложила вести дневник, чтобы я могла ясно себя увидеть и чувствовать себя свободнее. Она надеялась таким образом уменьшить и мою застенчивость. Я с готовностью приняла ее предложение и настолько привыкла писать дневник, что это стало для меня приятной необходимостью. Успех оправдал ее ожидания, я научилась выражать свои чувства и стала общительней.

Счастливым характер Анны Алексеевны вскоре привлек к ней много друзей, а здоровый ум направил правильным путем через лабиринт придворной жизни. Озадаченная непониманием между нами, сестрами, она сейчас же стала искать причину этого. Она никогда не говорила «моя» Великая Княжна, она всегда называла нас сообща и старалась в свободные часы занимать нас всех общим занятием. Мэри она завоевала своей жизнерадостностью, а также рассказами из времен своей юности. В Екатерининском Институте она видела бабушку каждую неделю, когда та посещала девочек, всегда в нарядном платье, чтобы доставить удовольствие детям, которые любовались ее драгоценностями. Она рассказывала о войне, о своем бегстве из Москвы в 1812 году, о своем бегстве в Нижнем Новгороде, о возвращении в родной сожженный город. Она заставляла нас рисовать по оригиналам и читала при этом вслух по русски. Мама, которая была еще очень слаба после неудачных родов, много бывала у нас, также и Саша, впрочем тот больше из-за молодых фрейлин. Мы играли, пели и жили беззаботной жизнью веселой компании. К сожалению, Анна Алексеевна, которая так удачно завоевала наш круг, сделалась вскоре жертвой несчастного случая. Широкий рукав ее муслинового платья загорелся от свечи; я же, вместо того, чтобы помочь ей, потеряла голову и стала звать на помощь. Прежде чем вбежавший камердинер смог потушить пожар своими руками, она уже получила ожоги на руке и груди, от которых потом остались рубцы.



**Великая Княжна Ольга Николаевна (Олли).**



## 1837 ГОД

Саша и Мэри уже в течение целого года выезжали и много танцевали. Мама, выглядевшая старшей сестрой своих детей, радовалась тому что может веселиться с ними вместе. Папа терпеть не мог балов и уходил с них, уже в двенадцать часов, спать, в Аничкове, чаще всего в комнату, рядом с бальной залой, где ему не мешала ни музыка, ни шум. В этой нелюбви Папа к балам и танцевальным вечерам, много был виноват дядя Михаил, который не желал чтобы офицеры приглашались на них по своим способностям к танцам, а чтобы, напротив, этими приглашениями поощрялись бы их усердие и успехи в военной службе. Но, когда на балах не было хороших танцоров — не бывало и дам. В тех случаях, когда удавалось сломить упорство дяди Михаила, он появлялся в плохом настроении, ссорился с Папа и для Мама всякое удовольствие бывало испорчено.

В эту зиму у нас, в Петербурге, был брат Мама, дядя Карл. Он научил меня и Мэри играть на рояли вальсы Ланнера и Штраусса в венском темпе, он же пригласил, по желанию Мама, оркестр Гвардейской кавалерии, чтобы научить их тому же. В светском отношении, он держал себя непринужденно, считая, что может позволить себе многое, благодаря своей обезоруживающей улыбке, что ему удавалось всегда даже с Дедушкой. Однажды он пригласил офицеров и трубачей одного полка к себе в Зимний дворец, без разрешения командира или одного из старших офицеров, и выбрал как-раз шесть лучших танцоров, которых можно было встретить во всех гостиных. Конечно, это были только молодые люди из лучших семей и в Берлине никогда никому и в голову бы не пришло возмутиться из-за этого. Но в глазах дяди Михаила это было преступлением. Дядя Карл пригласил и Мама, которая появилась у него, чтобы также протанцевать несколько туров. Как только она появилась, трубачи заиграли вальс, дядя пригласил Мама, Мэри и молодые фрейлины с офицерами также закужились, все были в са-

мом веселом настроении, как вдруг открылась дверь и появился Папа, за ним — дядя Михаил. Все кончилось очень печально, и этого конца не могли отвратить даже обычные шутки дяди Карла.

Воздух был заряжен грозой и вскоре она разразилась одним событием, которое, косвенно, было связано с неудачным балом. Среди шести танцоров, которых пригласил дядя, был некто Дантес, приемный сын Нидерландского посла в Петербурге барона Геккерна. По городу уже циркулировали анонимные письма, в которых, обвиняли красавицу Пушкину, жену поэта, в том, что она позволяет этому Дантесу ухаживать за собой. Горячая кровь Пушкина закипела. Папа, который видел в Пушкине олицетворение славы и величия России, относился к нему с большим вниманием и это внимание распространял и на его жену, которая была в такой-же степени добра, как и прекрасна. Он поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано жениться на младшей сестре Натали Пушкиной, довольно заурядной особе. Но было уже поздно: раз пробудившаяся, ревность продолжала развиваться. Некоторое время спустя после этого бала, Дантес стрелялся с Пушкиным на дуэли и наш великий поэт умер смертельно раненый его рукой.

Папа был совершенно убит и с ним вместе вся Россия, оттого, что смерть Пушкина была всеобщим русским горем. Папа послал умирающему собственноручные слова утешения и обещал ему защиту и заботу о его жене и детях. Он благословлял Папа и умер настоящим христианином, на руках своей жены. Мама плакала, а дядя Карл был долгое время очень угнетен и жалок.

Жуковский и Плетнев, наши русские учителя, оба дружные с Пушкиным и члены литературного кружка «Арзамас», давно уже познакомили нас с сочинениями Пушкина. Мы заучивали его стихи «Полтава», «Бахчисарайский фонтан» и «Борис Годунов», мы глотали его последнее произведение «Капитанская дочка», которое печаталось в «Современнике». В память погибшего друга, Плетнев, взял его журнал и продолжал издавать с большим успехом.

Папа освободил Пушкина от всякого контроля цензуры. Он сам читал его рукописи. Ничто не должно было стеснять дух этого гения, в заблуждениях которого Папа никогда не находил ничего иного, как только горение мятущейся души. Все архивы были для него открыты, он как раз собирался писать историю Петра Великого, когда смерть его похитила. Никто не походил на него. Лермонтов, Вяземский, Майков, Тютчев, все это были таланты, но ни один из них не достиг высоты гения Пушкина. Некрасов был доступен широкой публике, но только в одном: он воспевал бедных и бедность. Алексей Толстой мистик с изысканным языком, но несколько однообразный. Роман стал теперь выражением литературы; спешка современной жизни ограничивает поэтическое творчество, которому необходимо широкое дыхание.

В течение этой зимы я слышала много филармонических концертов в зале Энгельгард, на которых исполнялись симфонии Бетховена, реквием Моцарта и многое другое. Мне не доставляло это удовольствия. Анна Алексеевна, которая пыталась развить мой слух, предложила предоставить мне возможность играть в трио со скрипкой и виолончелью. Она обнаружила Бэлинга, прекрасного музыканта, застенчивость которого до сих пор мешала ему сделаться известным, но его песни были уже довольно хорошо знакомы публике. Он сочинил для меня прелестные вариации на тему Национального Гимна. Я играла их Мама в день ее рождения в апреле.

В театрах вызывала восторг Мария Тальони в балетах «Сильфида» и «Дочь Дуная». Она была некрасива, худа, со слишком длинными руками, но в тот момент, как она начинала танцевать, ее захватывающая прелесть заставляла все это забыть. Надо было ее видеть, чтобы понять, что совершенства грации способны вызвать слезы умиления.

Мэри, бывшая в восторге от Тальони, заучила с Дядей Карлом Па-де-Де, которое было очаровательной и остроумной пантомимой. Они танцевали его на китайском маскараде, третьем и последнем так называемом «бобовом» празднике. Все были в китайских ко-



стюмах. Высокозачесанные и завязанные на голове волосы, очень украшали дам, особенно тех, у кого были неправильные, но выразительные черты лица. Папа был одет мандарином, с искусственным толстым животом, в розовой шапочке с висящей косою на голове. Он был совершенно неузнаваем. Бобовой королевой была старая графиня Разумовская, выглядевшая в своем костюме замечательно. Королем был старый граф Пальфи, венгерский магнат, которого в Вене прозвали «Тинцль», очень веселый старик, охотно врашавшийся на бульварах и в кулисах театров, всегда с непокрытой головой, в жару, холод и даже в петербургскую зиму. Люди останавливались на улице чтобы посмотреть вслед этому человечку в мадьярской одежде, с красным лицом и трубообразным носом, с волосами, зачесанными ежом. Его всюду приглашали. Его знакомства были времен Венского Конгресса, оттуда же сохранилась и его внешность и замашки.

Весной, Саша отправился в большое путешествие по России. Через Вятку, он хотел добраться до Тобольска. Первый Великий Князь, который вступал на Сибирскую землю. Все, имевшие до него дела или обращавшиеся к его посредничеству, были очень милостиво приняты Папа, который ничего не желал так страстно, как чтобы имя его сына благословлялось где-бы он ни появлялся.

В Новочеркасск Саша торжественно въехал верхом на лошади, с Атаманской булавой в руках, окруженный казаками. В то время, ему было 19 лет. Он был высок и строен. Лицо его было более красивым, чем повелительным. В нем преобладала мягкость и в глазах светилась доброта его души. Таким, каким он был мальчиком, он оставался и до конца своих дней, в шестьдесят лет. Неблагодарность людей и разочарования в жизни не смогли изменить его доброту, которой было пропитано все его внутреннее существо.

Одиннадцатого июля, в день моего Ангела, он был в Туле, откуда прислал мне икону с изображением Богоматери, которую я до сих пор храню. Такое, исходившее от сердца, внимание. Он оказал мне в то время, когда был завален работой и обязанностями, которые занима-

ли его время.. Оно меня тем более тронуло, что ведь обычно братья не балуют своих сестер. Осенью, он встретился с родителями в Вознесенске, чтобы присутствовать на больших кавалерийских маневрах. Множество Высочайших Особ и Принцев из-за границы уже прибыло туда; между ними также и Принц Карл Баварский и с ним его племянник, Принц Лейхтенбергский. С первого же взгляда Мэри его поразила. И он понравился ей, так как был очень красивый мальчик. Но главным образом, ей льстило то впечатление, которое она произвела на него и мысль о том, что он может стать ей мужем, сейчас же пришла ей в голову. Согласится ли он остаться с ней в России. Я повторяю, что ей только пришла эта мысль... ни о каком серьезном чувстве еще не могло быть и речи.

Сейчас же после маневров была предпринята большая поездка всем обществом в Крым. Меня туда не взяли; но благодаря письмам друзей я получила понятие о ней. Князь М. Воронцов, генерал-губернатор Южной России, облюбовал этот чудесный уголок и выстроил себе в Алушке роскошный дворец в мавританском вкусе с английским комфортом. Многие богатые, дружные с ним семьи последовали его примеру, между ними Нарышкины и другие.

Моих родителей принимали там с таким гостеприимством, как разве во время Императрицы Екатерины. Верхом, на лошадях оседланных по восточному в бархат и золото, ездили от одного поместья к другому. Это было чудесным временем: везде самое приятное общество, музыка, танцы до глубокой ночи на залитых лунной террасах, сады полные пышных южных растений. Мама получила от Папа в подарок поместье Орианда, с одним условием, что Папа совершенно не будет заботиться о нем и что она выстроит себе там такой дом, какой ей захочется. К моему пятнадцатилетию, я получила от Мама письмо, дышавшее восторгом, что она в стране, которая представляет собою землю классиков. Она зачитывалась «Ифигенией» Гете и написала в Берлин известному архитектору Шинкелю, прося его начертить ей план дворца в греческом вкусе. Он действительно создал план, достойный рук волшебника, храм с

колоннами и дорическим фронтоном, в котором могла бы жить сама Минерва, но никак не обыкновенные люди. Тогда обратились к тоже очень известному в то время архитектору Штакельшнайдеру. Он нарисовал волшебную виллу в итальянском вкусе, которую и построили, но которую Мама не было суждено видеть. Она завещала ее Константину, для того, чтобы он мог жить в ней, когда его обязанности Адмирала звали его к Черному морю.

Мэри участвовала в поездке. Она наслаждалась тем, что вызывала восхищение как у молодых, так и у старых. Ее красота была совершенно особого рода, она соединяла в себе две вещи: строгость классического лица и необычайную мимику, лоб нос и рот были симметричными, плечи и грудь прекрасно развиты, талия так тонка, что ее мог обвить обруч ее греческой прически. Понятие о красоте было для нее врожденным, она сейчас же понимала все Прекрасное. Она ярко переживала все ею виденное и была чужда всякому предубеждению. Очень скорая в своих решениях и очень целеустремленная, она добивалась своего какой угодно ценой и рассыпала при этом такой фейерверк взглядов, улыбок и слов, что я просто терялась и даже утомлялась, только глядя на нее. Я чувствовала себя часто несвободной в ее обществе, ее непринужденность сковывала меня, ее поведение пугало, оттого что я не могла объяснить себе того, что за ним таилось. Если она бывала хороша со мной, я сейчас же подпадала под ее очарование, но единогласия между нами почти не было. И тем не менее, она была хорошим товарищем и верной подругой и ее вера в дружбу никогда не ослабевала, несмотря на некоторые разочарования. Ни один из просителей никогда не уходил от нее без ответа, но те, кто знал ее, больше просил услуги, чем совета. Никто не ожидал от этого возбужденного сердца терпения, благоразумия или глубокого понимания. Так и политические соображения не вызывали в ней ничего кроме спешных импульсов, часто даже противоречущих один другому. Гораздо позднее, когда благодаря урокам жизни ее натура укрепилась и стала выносливей, я же приобрела больше уверенности в себе, наше взаимное чув-

ство друг к другу стало много крепче. Конечно, она была в сотни раз ценнее меня, она была способнее, чем все мы семеро вместе, но одного не хватало ей: чувства долга. Она не умела находить поставленные перед ней задачи и завидовала тому, с каким жаром я могла им отдаваться.

Адини, младшие братья и я оставались во время этого путешествия в Царском Селе, под покровительством нашего маленького князя Голицына, этого милого старичка, который никогда не казался нам старым, а также, некоей Мадам Плещеевой, жившей обычно в Павловске. Она принадлежала, еще, к окружению бабушки, ее муж был лектором при Дворе. Постоянно, осаждали мы обоих старичков расспросами о наших тетках, сестрах Папа, которые все пятеро были очень хороши собой. Мы рассматривали их портреты, просили рассказать нам об их характерах, манерах, появлении в свет. Сравнивали эти, идеальные для нас, существа с собой и находили себя очень посредственными в сравнении с ними.

26 августа, в день Святой Наталии, Мадам Плещеева пригласила нас к пышному обеду. В этот день, вокрут нас, собрались все, духовно близкие к бабушке. Главным образом, то были учителя и профессора, воспитавшие наших теток и дядей. Мы знали их всех по именам и обе были преисполнены благоговения ко всему, что касалось Императрицы-Матери, нашей обожаемой бабушки, которая всегда была так добра к нам и к которой все, кто были при ней, относились с глубоким уважением.

Но, натянутые и точно застывшие лица этих стариков смущали нас. Они все сидели с шляпами в руках, вдоль стен и ожидали от нас, Великих Княжен, совсем не обладавших светскими талантами своих теток, ласковых слов, предписанных нам на приемах. Момент, в который мы могли сесть к столу, чтобы начать есть кашу с грибами, в сметанном соусе, был для всех облегчением.

Вообще же, эта осень проходила спокойно и для нас была заполнена работой. Анна Алексеевна очень следила за моими науками ввиду того, что была речь

о том, что я выйду замуж в шестнадцать лет. Я начала писать маслом. Наш учитель рисования Зауервейд устроил мне в Сашиной башне ателье, к которому вели сто ступенек. Оттуда можно было наблюдать за облаками и звездами. Он хотел научить меня быстрой и успешной манере писать. Я принялась за это с восторгом и была вскоре в состоянии с успехом копировать некоторые картины в Эрмитаже. Зауервейд был обнаружен Папа в Дрездене. Он писал батальные сцены и копировал художников с таким совершенством, что потом многие эти копии были проданы как оригиналы.

Тут, кстати, хотелось бы коротко описать наших различных преподавателей.

Мосье Жильль, родом из Женевы, был нашим преподавателем истории. Он говорил не слишком приятно, зато писал очень отчетливым и ясным языком и требовал от нас, чтобы мы записывали его лекции, чем приучил нас к быстрому писанию. Все, чему он нас учил, было легко понять и хорошо запоминалось. Он обращал наше внимание на достойных примера людей или их поступки, будь то на поприще искусства, науки или исследований. Так например, мы знали об Александре Гумбольдте и его приезде в Петербург, знали об исследователе Полярного Полюса капитане Россе и о фон Хаммеле, взошедшем первым на Монблан. Он приносил нам самые лучшие литографии, чтобы пробудить в нас интерес к дальним странам. Папа назначил его потом заведующим Библиотекой и хранителем Арсенала в Царском Селе, ввиду того, что у него были также и большие познания в истории оружия. Как ученый, он заслужил, благодаря своим трудам, известную европейскую славу.

Наш преподаватель английского языка, Варранд, был истинным другом детей: веселый, подвижный, желанием всегда нас баловать, всегда готовый дать свой урок в саду, он позволял нам в свободное время делать с ним, что нам было угодно. На все случаи жизни у него были свои поговорки. Он был очень чистенький и аккуратный. Так, например, он каждый раз мыл себе голову перед тем как выйти на прогулку, и случалось не раз, что возвратясь он не мог снять шляпы с головы,

оттого что она примерзла. Он был прекрасным отцом и все его дети были отличными существами и преуспевали на своей службе.

Наш немецкий преподаватель назывался Оертль. Он был очень независим, но в высшей степени небрежен к своей особе. Еще сегодня я вспоминаю рисунок его вышитых подтяжек. Ногти его были всегда грязны, но система занятий — блестящая. Он постоянно заставлял нас не распускаться и вдалбливал в своевольные головы наши ужасно трудные немецкие фразы, в которых до бесконечности нужно ждать глаголов.

Многому учил он нас по цветным картинкам, что нам нравилось и легче запоминалось. Но потом, когда мы перешли к изучению и чтению примеров из классической литературы, мы примирились с немецким языком. Я пробовала даже писать мой дневник по-немецки, но говорить я научилась только после моего замужества.

Курно — наш преподаватель французского языка — появился у нас, когда мне было пятнадцать лет. Анна Алексеевна, в своей постоянной заботе о том, чтобы развязать мне язык, обратилась к нему, который был знаменит своей системой преподавания, с просьбой научить меня передавать экспромтом мною слышанное или сочиненное. Вскоре он должен был отказаться от этого, уж слишком неспособной к этому я оказалась. Тогда он стал заставлять меня писать, считая, что я скорее могу добиться этого. После того, как я закончила свое учение у него, мы стали истинными друзьями и читать и разговаривать с ним стало для меня искренним удовольствием. Я вспоминаю, как однажды Папа вошел ко мне и услышал, что мы читаем «Военная служба и ее значение» Альфреда де Виньи. Он слушал некоторое время очень внимательно, затем взял книгу себе и прочел ее с начала до конца. Мысль о воинском долге, которая была заложена в основу этой книги, настолько захватила его, что он был тронут почти до слез.

Наш русский преподаватель, Плетнев, был по духу очень тонок, почти женственно чуток и очень ценился современниками благодаря своей несколько са-

моуверенной критике. Он умел делать это, наперекор всем принципам и теориям, только опираясь на незапятнанность и искренность своего существа. Все обыденное, плоское было чуждо ему. Его влияние на учащуюся молодежь в Петербурге было крайне плодотворно. Он открывал и бережно хранил такие таланты, как Гоголь, Майков и другие. С нами, детьми, он обращался так, как это надлежало педагогу. В Мэри он поддерживал ее воображение, Сашу — в доброте сердца, и всегда обращался с нами, подрастающими, как со взрослыми, когда надо было указать нам наш долг, наши обязанности, как в отношении Бога и людей, так и перед нами самими. Он бывал расстроган до слез, когда говорил нам о надеждах, которые возлагает на нас и которые он хотел нам помочь осуществить. Из всех наших преподавателей он был тем, который особенно тлупо указывал и разъяснял нам ту цель жизни, к которой мы готовились. Несмотря на то, что он был очень посредственным педагогом, его влияние на наши души и умы было самым благодатным. Он умер в 1858 году в Париже, после долгой и мучительной болезни. Мэри, которая была в то время в Париже среди празднеств и балов при дворе Наполеона III, успевала навещать нашего старого друга, чтобы отплатить ему той же верностью и добротой, которую он питал к нам, детям.

Я уже упоминала, что он был другом и издателем Пушкина. Его письма, как и статьи были очень известны и всеми читались, его имя связывали с духовными и политическими сдвигами нашей эпохи. Благодаря ему, я поняла, какое направление приняли либеральные идеи декабристов. Папа знал свой народ и Россию, как немногие. «Они должны чувствовать руку, которая ведет их», было его словами. Управлять собой учатся не по теории. Нужно время, чтобы узнать свободу и суметь ее сохранить!

Однако, куда-же я отвлеклась?...

Тимаев, наш преподаватель русской истории, был инспектором классов в Смольном. Он был педант и сухарь, каким неминуемо становится каждый, если он изо дня в день без всякого подъема, проводит однообразную работу надзора за девятыюстами людьми (включая

и педагогов). Он был единственным нашим преподавателем, который экзаменовал нас и наказывал, заставляя переписывать что либо, за малейший проступок. Нужно было принести в жертву всю свою любовь к Отечеству, чтобы учить его уроки.

Арифметику нам преподавал Колленс, прекрасный человек, рано умерший и замененный Ленцом, нашим преподавателем физики, профессором Академии Наук и множества Университетов. В нем соединялись большие знания с добродушием, что можно часто найти в немецких ученых. Я была страстно увлечена химией и следила с большим интересом за опытами, которые производил некто Кеммерер, его помощник. Он показывал нам первые опыты электрической телеграфии, изобретателем которой был Якоби. Опыты эти в 1837 году вызывали глубочайшее изумление и в пользу их верили так же мало, как — и в электрическое освещение. Уже в то время мы получили понятие о подводных снарядах, впоследствии торпедах. Папа, интересовавшийся всем, что касалось достижений науки, приказал докладывать ему обо всем. Особо его интересовала техника гальванизации, столь необходимой для промышленности. Мой будущий зять, Макс Лейхтенбергский, впервые в 1842 году, основал в Петербурге первый завод, строившийся под руководством французских специалистов. Он существует еще и сегодня, под именем завода Шопена.

Все эти преподаватели занимались обучением только нас четырех старших. Науками Кости ведал Литке. Он выбрал ему в преподаватели некоего Гримма, рациональный метод которого принес очень хорошие плоды. Кости, имевший прекрасную память, вдали от своих летних развлечений на кораблях Балтийского флота, приобрел очень большие познания в географии и математике, которые позволяли ему хорошо сдавать все экзамены. Благодаря своему пытливому уму и либеральным взглядам, не совсем обыденным для Зимнего Дворца, он проявил себя необычайно способным к усвоению всего делового, в то время, как в обращении с людьми ему нехватало такта. Он обладал способностями государственного деятеля и его имя останется свя-



занным с реформами, осуществленными в царствование Императора Александра II-го, и проведенными в жизнь им. Литке умел окружить его замечательными людьми. Это он ввел к Косте Головина, который в течение тридцати лет был его правой рукой. В розысках способных людей ему удалось провести в Морское Министерство молодых людей, которые, как и он, стремились изгнать оттуда бюрократический дух. Этих молодых людей называли потом «Константиновичами» и все они играли более или менее значительную роль, как например Рейтерн в Министерстве Финансов, Набоков в управлении Польши, Димитрий Оболенский в Таможенном Ведомстве, Димитрий Толстой в Министерстве Просвещения. Напомнить обо всем этом я хочу в тот момент, когда Кости, впавший в немилость у Императора Александра III-го, совершенно отошел от дел. Это было тяжелым ударом для всех либерально мыслящих, которые могли бы, опираясь на его помощь, восстановить равновесие между отсталыми кругами и передовыми консерваторами. Но видно было суждено иначе. Кости всегда был терпимым по отношению прессы, относился с презрением ко всем нападкам на свою особу и никогда на них не реагировал. Этим объясняется, что пополнились подлые слухи об его причастии к заговорам нигилистов. Слухи эти никем не опровергались. Он считал это ниже своего достоинства. Такой взгляд на вещи, вызванный только его благородством, должен был быть понятен не только мне одной. К сожалению, это было не так.

В 1837 году Кости было только десять лет. Он был маленьким, немного согнутым, близоруким, отчего дядя Михаил прозвал его Эзопом. Живой и оживленный он один производил больше шума, чем целая компания детей. Очень развитой для своего возраста, он сейчас же схватывал нить разговора и никогда не скучал в обществе взрослых. Но незанятый, он мог быть невозможен. На все у него всегда был ответ и его смешные гримасы выводили часто Мама из терпения, и ей приходилось бранить его. Он был упрям и Литке боролся с этим, постоянно его наказывая; но это не было правильным способом вести его: если бы с ним обращались

иначе, его натура могла сделаться великой. Он часто днями не разговаривал, таким обиженным и озлобленным чувствовал он себя тем воспитанием, которое применялось к нему, и в двадцать лет он решил жениться, только чтобы избавиться от ярма своего воспитания. Таким образом, прямо из детской он попал в мужа, безо всякого опыта, без того, чтобы изжить свою молодость или побыть в кругу своих сверстников, совершенно неспособный не только вести жену, но и себя самого. Он избавился от воспитательской деятельности Литке, с тем чтобы попасть под башмак своей очень красивой, но и очень изводящей Санни, урожденной принцессы Ангальт-Саксонской. Одна ее внешность привела его в восторг и вызвала в нем страстные чувства, он любил ее, вначале, совершенно идолопоклоннически, без того, чтобы замечать ее ограниченность. После двадцатилетнего брака у него вдруг открылись глаза, наступило разочарование и с ним несправедливость: она ведь была невиновна в тех иллюзиях, которые он делал себе и которые вдруг увяли. Их дальнейшая жизнь была несчастливой. Он бросился в работу и чем больше нужно было сделать, тем более он отвлекался от печальной действительности своей собственной жизни. Когда его терпению приходил конец, он уезжал в Кронштадт. Быть одному было его отдыхом и только музыка была способна снова восстановить равновесие его души. Каждую пятницу он играл в русском оркестре, под управлением Направника, на виолончели. Разучивались новые произведения, конечно, без публики. Раз в году, во время Великого поста, совместно с оперным хором, устраивались концерты, на которых исполнялись Оратории Бетховена, симфонии Шумана или новые, неизвестные еще, произведения. На этих концертах присутствовало все, что в Петербурге любило музыку. Санни, в большом туалете, прекрасная, всеми восторженно встречаемая, принимала гостей. Кости-же, не считаясь ни с кем и ни с чем, вел то в одной, то в другой нише свои особые разговоры. В тот-же момент, когда начинался концерт, он бывал так захвачен музыкой, что никого и ничего для него больше не существовало. Эти концерты происходили в готическом зале с высоким

сводчатым потолком. Находившийся там орган, придавал залу вид часовни.

Несчастливый брак и другие шероховатости, повстречавшиеся на ее жизненном пути, углубили натуру Санни. В своем отчаянии, она обратилась к Богу и религии. У нее есть прекрасные стороны, доходящие иногда до смелого исполнения долга. Но ее характер остается переменчивым, порой даже вспыльчивым, что очень затрудняет сношение с ней. Мне самой удалось быть с ней, как и с тремя другими моими невестками, в прекрасных отношениях. Санни платила мне всегда полным доверием.

Кости много читал, любил общество ученых и иных умных людей, своей прекрасной памятью запоминал все и мог принимать участие в любом разговоре. Он занимался также изучением русского народного творчества и был в постоянных сношениях с Погодиным и другими москвичами, что многими истолковывалось как славянофильство и это было не чем иным, как попыткой посеять рознь между двумя братьями. Но Саша достаточно знал своих братьев, чтобы считать будто кто-либо из них способен на оппозицию.

Но я все время уклоняюсь; впечатления мгновений увлекают меня и вызывают картины и воспоминания, которые не подчиняются никакой последовательности. Пора, наконец, опять поймать нить.

Итак, мы в 1837 году. Мама вернулась с Кавказа и мы уезжаем в Москву. Папа должен был следовать за нами позднее. Бенкендорф был нашим провожатым. Из-за серьезной болезни, которою он захворал, он не мог сопровождать Папа на Кавказ и был заменен Алексеем Орловым, как в коляске, так и во всех делах и поручениях.

Служба Бенкендорфа очень страдала от влияния, которое оказывала на него Амели Крюденер, кузина Мама (не смешивать с Юлианой фон-Крюденер, мистической писательницей, оказывавшей влияние на Императора Александра I, во времена основания Священного Союза). Как во всех запоздалых увлечениях, было и в этом много трагического. Она пользовалась им холодно, расчетливо распоряжалась его особой, его

деньгами, его связями, где и как только ей это казалось выгодным, — а он и не замечал этого. Странная женщина! Под добродушной внешностью, прелестной, часто забавной натурой, скрывалась хитрость самого высшего порядка. При первом знакомстве с ней, даже мои родители подпали под ее очарование. Они подарили ей имение «Собственное» и, после своего замужества с Максом Лейхтенбергским, Мэри стала ее соседкой и они часто виделись.

Она была красива, с цветущим лицом и поставом головы, напоминавшим Великую Княгиню Елену, а правильностью черт Мама; родственное сходство было несомненным. (Она была кузиной Мама через свою мать Принцессу Турн и Таксис). Воспитывалась она в семье графа Лерхенфельда, где ее называли просто мадемуазель Амели. Без ее согласия, ее выдали замуж за старого и неприятного человека. Она хотела вознаградить себя за это и окружила себя блестящим обществом, в котором она играла роль, и могла повелевать. У нее, и в самом деле, были манеры и повадки настоящей грандам. Дома у нее все было в прекрасном состоянии; уже по утрам она появлялась в элегантно неглиже, всегда занятая вышиванием для алтарей или же каким нибудь шитьем для бедных. Она была замечательной чтицей. Если ее голос вначале и звучал несколько крикливо, то потом она захватывала своей передачей. Папа думал вначале, что мы приобретем в ней искреннего друга, но Мама скоро раскусила ее. Ее прямой ум натолкнулся на непроницаемость этой особы и она всегда опасалась ее. Сэсиль Фредерикс и Амели Крюденер просто ненавидели друг друга и избегали встреч. Потом, когда ее отношения с Бенкендорфом стали очевидными, а также стали ясны католические интриги, которые она плела, Папа попробовал удалить ее без того, чтобы вызвать особенное внимание общества. Для ее мужа был найден пост посла в Стокгольме. В день назначенный для отъезда, она захворала корью, требовавшей шестинедельного карантина. Конечным эффектом этой кори был Николай Адлерберг, в настоящее время секретарь посольства в Лондоне. Никс Адлерберг, отец, взял ребенка к себе, воспитал его и дал

ему свое имя, но, правда, только после того, как Амели стала его женой. — Теперь еще, в 76 лет, несмотря на очки и табакерку, она все еще хороша собой, весела, спокойна и всеми уважаема, играет — то, что она всегда хотела, — большую роль в Гельсинфорсе.

Но вернемся опять к Москве. Нас свезли к жене старого генерал-губернатора князя Дмитрия Голицына, к которой мои родители были очень расположены. Она встретила нас любезно, мы чувствовали себя хорошо у нее. Мама брала нас с собой, когда навещала приюты, институты, школы и монастыри. Только в госпитале нас не брали. После приезда Папа, мы жили в Малом Дворце, бывшем местожительстве Патриарха, граничившем с Чудовым монастырем, где покоятся мощи Святого Алексея. В этом Дворце за 20 лет до этого появился на свет Саша. Было принято сейчас же по прибытии ехать поклониться мощам и один из постоянно там молящихся шести монахов поднимал крышку гроба. Женщины, за исключением Особ Императорской Фамилии, не смели стоять подле гроба, а должны были молиться в боковой часовне.

Во время утренней молитвы, большой колокол Ивана Великого возвестил Москве прибытие Государя. Он звонил только по большим церковным праздникам, к Коронации или прибытию Императора. Народ стремился со всех концов к Кремлю и в 11 часов утра вся большая площадь была запружена. Папа появился пешком, сопровождаемый только Сащей. Толпа расступилась перед ним, безо всякого вмешательства полиции. Мы с Мама следовали за ними в экипаже. При входе в Успенский Собор, нас встретил, кратким словом, Митрополит Филарет, окруженный московским духовенством. Потом запел хор. Блеск и пышность больших времен смешались, в этот миг, в этом пении с возвышенными чувствами благоговения и любви, наполнившими наши сердца. После этого, мы в Соборе преклоняли колена перед иконами и гробницами Святителей Петра, Ионы и Филиппа, затем шествие следовало в Архангельский Собор, чтобы поклониться гробницам предков, оттуда в церковь Благовещения и затем к Красному Крыльцу, где мы поднимались по

лестнице. На первой площадке Их Величества поворачивались, чтобы поклониться толпе, отвечавшей бурными приветствиями. Русский народ всегда питал к своему Государю и его семье чувства, граничившие с обожанием.

Папа радовалось то обстоятельство, что его любили в народе за его справедливость и энергию. То уважение, которое он внушал, исходило главным образом от его взгляда, который могли переносить только люди с чистой совестью. Все искусственное, все наигранное рушилось и всегда удавалось этому взгляду торжествовать надо всем ему враждебным.

Папа стоял как часовой на своем посту. Господь поставил его туда, один Господь был в состоянии отозвать его оттуда и мысль об отречении была немыслимой в его представлении о чувстве долга. В то время, он был на высоте своей власти и его влияние на окружающих казалось неисчерпаемым. Позднее, когда он узнал, что существуют границы даже для самодержавного Монарха и что результаты тридцатилетних трудов и жертвенных усилий принесли только очень посредственные плоды, его восторг и рвение уступили место безграничной грусти. Но мужество устоять дальше никогда не оставляло его, он был слишком верующим, чтобы предаться унынию; но он понял, как ничтожен человек. Как часто он говорил нам в это время: «Когда меня не будет больше, молитесь обо мне».

Во время нашего посещения Москвы, мы осмотрели также Грановитую Палату, одно из старейших зданий города. Мы проходили через все покои, через бесчисленные часовни этого старого дворца, и Папа поднимался с нами в терема, где в свое время жили царицы, и которые реставрировались теперь в том русско-византийском стиле, который восстановил художник Солнцев.

Восхищенный этой первой пробой, Папа решил построить на месте дворца, созданного во времена царствования Императрицы Екатерины и не носившего ни малейшего народного характера, новую постройку, большую и прекрасную, для того, чтобы она могла служить для будущих празднований коронаций. Каждый

зал должен был носить имя одного из больших орденов: Зал Св. Андрея Первозванного, Зал Св. Екатерины и т. д. Зал Св. Георгия Победоносца должен был быть украшен мраморными досками с именами кавалеров этого ордена.

Постройка дворца была закончена в 1849 году. Я присутствовала на его освящении в Пасхальную ночь. Это была одна из самых красивых, но и самых утомительных, церемоний в моей жизни: она длилась с полудня до четырех часов утра. По возвращении, Папа получил депешу юного Франца Иосифа Австрийского, просившего своего союзника о помощи против Венгерского восстания. Империя была в опасности. Папа сейчас же подписал приказ о походе своих войск. Эта депеша и ответ на нее, помеченные числами, хранились в Кабинете. Сколько событий произошло с тех пор! Как многое изменилось! Но характер Папа остался неизменным до его конца, несмотря на все препятствия и трудности, встречавшиеся на его пути, которые он всегда умел пересилить. Каким иным сделалось все, когда его больше не стало!

Жизнь в Москве протекала более регулярно, чем в Петербурге. Приглашения на празднества и обеды выдавались строго по чину, всегда на первом месте был Митрополит, в то время как в Петербурге Митрополит появлялся только на свадебных и крестинных обедах. Здесь в Москве он молился перед тем, как садиться к столу и сесть было можно только после его благословения. Филарет считался светочем церкви; во все трудные моменты обращались к нему. Он пользовался доверием еще Императора Александра I-го, у него хранились важные документы, как, например, отречение Великого Князя Константина Павловича, которое держалось в секрете.

Москва всегда смотрела с пренебрежением на свою младшую столичную сестру — Петербург. Она была горда своей седой стариной и своим национальным ореолом. Интересы москвичей ограничивались театром (в отличие от Петербурга, там была Итальянская Опера) и местными новостями. Литературой или политикой не интересовались. Но губернатор, князь Голицын, очень

заботился о городе. Он построил целый ряд прекрасных колодцев с чистой водой, которая с громадными затратами проводилась издалека. Промышленность, начинавшая развиваться, пробовала торговать своими товарами. Папа всячески поддерживал промышленников, как, например, некоего Рогожина, который изготавливал тафту и бархат. Ему мы обязаны своими первыми бархатными платьями, которые мы одевали по воскресеньям в церковь. Это праздничное одеяние состояло из муслиновой юбки и бархатного корсажа фиолетового цвета. К нему, мы надевали нитку жемчуга с кистью, подарок шаха Персидского. Почти всегда мы, сестры, были одинаково одеты, только Мэри разрешено было еще прикалывать цветы.

В Москве мне пришлось принять участие в некоторых балах и торжественных обедах, без особой на то охоты, я всегда этого боялась, так как Папа, очень следил за тем, чтобы мы все проделывали неспешно, степенно, постоянно показывая нам, как надо ходить, кланяться и делать реверанс. Мы могли танцевать только с генералами и адъютантами. Генералы всегда были немолоды, а адъютанты — прекрасные солдаты, а потому плохие танцоры. Перед мазуркой меня отсылали спать. Об удовольствии не могло быть и речи.

Когда давался торжественный обед, за маленьким столом на двенадцать приборов говорил только один Папа. Он рассказывал о поездках или иных воспоминаниях, был весел, шутил или даже говорил двусмысленности. Когда он говорил о серьезных вещах, его речь захватывала, как это часто бывает у людей, которые живо воспринимают и действительно убеждены в том, что они говорят. После обеда, он стоял у камина и разговаривал с генералами о военных делах: вспоминал Бородино, Лейпциг, вступление в Париж. Мама сидела в кругу прочих гостей. Там были очень оживленные разговоры, особенно если при этом был Серж Строганов, скрывавший под серьезной внешностью веселый темперамент и пользовавшийся большим расположением дам. По вечерам занимались музыкой или же смотрели как светские артисты играли на сцене. Однажды даже давали «Севильского цирюльника» и



все очень хорошо играли. Почин к этому исходил по большей части от Мама и тети Елены или прежних придворных дам, ставших москвичками, но сохранивших еще их прежний подъем и умевших занимать Папа.

Несмотря на мою светскую жизнь, я все еще оставалась ребенком и сейчас еще вспоминаю те шалости, которые я придумывала тогда. Особенно запомнился мне один случай. Анна Алексеевна обещала своим племянницам привести их во дворец. Немного взволнованные предстоящим представлением Великой Княжне, которая была в их возрасте, они воображали себе этот визит очень торжественным. Адини и я сложили целую гору подушек. Задрапированные пестрыми платками с лентами из Торжка, обмотанными вокруг голов, мы сели по турецки наверх подушек, вооружившись киями от бильярда вместо табачных трубок. Дверь отворилась — полнейший конфуз! Затем взрывы хохота, киданье подушками — так произошло знакомство. Но Анна Алексеевна была очень долго огорчена таким недостойным представлением.

Занятий в эти недели кроме музыки и чтения, у нас не было. Вместе с Мэри мы читали вслух книгу Мадам де Сталь о Германии. С Кости, который не только имел «Историю России», но и хорошо знал ее, мы посещали Оружейную Палату, монастыри и музеи. Он был прекрасным чичероне и поражал всех своими меткими вопросами и замечаниями. При этом, он также шалил, примерял сапоги Петра Великого, садился на трон Ивана Грозного и надел бы на себя и шапку Владимира Мономаха, если бы ему не помешал Литке. Мы присутствовали при облачении Макария Булгакова (1816-1883), известного знатока церковной истории, Митрополита Московского, который был ректором Духовной Академии в Петербурге. Филарет, который возлагал на него большие надежды, принимал участие в этой церемонии.

Адини не могла сопровождать нас, у нее болела нога и ей пришлось пролежать все время нашего пребывания в Москве на шэз-лонге. Днем ее носили по нашей потайной лестнице наверх к Мама и она принимала

участие в разучивании духовных песен, которое выдумал Папа, с тех пор, как узнал от Филарета, что Петр Великий пел в хоре. Наша часовня была сейчас же под комнатами родителей, туалетная Мама даже сообщалась с хорами. Папа, Саша, Мэри и Адени, у которой было прекрасное сопрано, а также Анна Алексеевна и еще некоторые, пели всю обедню. Алексей Львов сочинил для них песнопения, между ними «Отче Наш» и чудесную «Херувимскую», специально для Адени. По воскресеньям, перед обедней, все собирались, чтобы пропеть, если нужно было петь новые песнопения Празднику, а главное, прокимен, который имел на все 52 недели года для каждого воскресенья свое собственное название и молитву. У Папа стало с тех пор привычкой узнавать прокимен для следующего воскресенья заранее. Его глаза встречались с нашими, когда пели этот прокимен, и Саша, потом, в память этого, делал то же, если присутствовал кто либо из нас, певцов тогдашнего доброго времени.

При воспоминаниях о Москве, я не могу забыть князя Сергея Михайловича Головина, богатого холостяка, имевшего прекрасную картинную галерею и массу бедных родственников, заполнявших его дом доверху: сестер, племянниц, подруг этих племянниц, бывших слуг с их семьями, служившими часто по три поколения его семье. Его стол был всегда накрыт на 50 персон. Об этом существовал анекдот: тридцать лет подряд появлялся в обеденный час у него человек, исчезавший сейчас же после десерта. В один прекрасный день его место осталось незанятым. — Куда он девался? Никто не мог ответить на это. Кто такой он был? И этого никто не мог сказать. Тогда стали узнавать, куда он делся и выяснилось, что он умер ночью после своего последнего появления на обеде. Тогда только узнали его имя. Это очень показательно для беспечной патриархальной жизни прежней России. Императрица Екатерина гостила в этом дворце Голицыных, в то время как перестраивался Кремль. Кресло, на котором она сидела и письменный стол, за которым она писала, хранились особо и с большим почетом.

Прежде чем мы покинули Москву, у Мэри явилась

блестящая мысль, чтобы мы, сестры, из собственных сбережений, по примеру наших предков, учредили какой либо общественный фонд; начальные училища для девочек оказались необходимыми. Был учрежден Дамский Комитет, пожертвования со стороны предпринимателей и купцов не заставили себя ждать, так что в течение только одного года были учреждены 12 школ в разных частях города, которые назывались «Отечественные Школы» и прекрасно работали.

Седьмого декабря, после Дня Рождения Папа, прекрасным зимним днем, мы покинули Москву. Утром было только 5 градусов мороза, вечером, в Твери, уже 15 и на следующее утро 20 градусов. Люди смазывали лица гусиным жиром, чтобы не отморозить нос и уши. Мы были плотно закутаны в шубы, в теплых валенках до колена и ноги в меховом мешке. Мэри, которой стало дурно от этого закутывания, должна была пересесть в другой возок, где опускались окна. Ее место в возке Мама заняла Анна Алексеевна; мы весь день напролет пели каноны и русские песни, музыкальный репертуар Анны Алексеевны был неисчерпаем.

На станциях крестьяне приносили нам красные яблоки и баранки. Анна Алексеевна разговаривала с ними, зная, благодаря своей долгой жизни в деревне, что их интересовало и заботило. Мама очень одобряла это, ввиду того, что сама недостаточного хорошо говорила по русски.

Десятого декабря мы прибыли в Петербург. 17-го декабря был пожар в Зимнем Дворце. Это было вечером. У нас была зажжена по обыкновению елка в Малом зале, где мы одаривали друг друга мелочами, купленными на наши карманные деньги. Родители были в театре, где давали «Бог и баядерка» с Талиони. В половине десятого, когда мы как раз собирались ложиться спать, Папа неожиданно появился у нас, с каской на голове и с саблей, вынутой из ножен. «Одевайтесь скорей, вы едете в Аничков», сказал он поспешно. В то же время, взволнованный камер-лакей застучал в дверь и закричал: «Горит!.. горит!...» Мы раздвинули портьеры и увидели что, как раз против нас, клубы дыма и пламени вырываются из Петровского зала. В несколько

минут мы оделись и сани были поданы. Я еще побежала в мою классную, чтобы бросить прощальный взгляд на все, что мне было дорого. С собою я захватила фарфоровую собаку, которую спрятала в шубу и бросилась на улицу. Там меня впихнули в сани вместе с маленькими братьями и мы понеслись в Аничков. Нас устроили там наспех, где придется. О том, чтобы спать, не могло быть и речи. Между часом и двумя приехала Мама и рассказала, что есть надежда спасти флигель с покоями Их Величества. Когда Мама приехала из театра, ей сказали, что мы в безопасности. Тогда она сейчас же прошла к несчастной Софи Кутузовой (дочь Петербургского генерал-губернатора, которая была очень слаба после несчастного случая) и очень осторожно сказала ей, что ей придется переехать. Она оставалась при ней, пока та перенесла вызванный этой новостью нервный припадок и не оставила ее пока при ней был доктор. Только после этого, она прошла к себе, где Папа уже распорядился всем. Книги и бумаги запаковывались и старая каммерфрау Клюгель заботилась о том, чтобы не оставить безделушек и драгоценностей. Отсюда Мама поехала к Нессельродэ, где был приемный день и где весь петербургский свет столпился у окон, чтобы видеть пламя пожара.

Когда я поднялась утром, в Аничковом, наверх к Мэри, они сидела за кофе, перед ней в вазе, как обычно, ее воскресный букет: белая камелия, несколько ландышей и вереск. Розетти, бывший камерпаж, теперь офицер Преображенского полка, принес эти цветы вместе с лорнеткой, бриллиантовыми брошками и другими мелочами, которые лежали на подзеркальнике ее туалетной. Он знал все ее привычки и трогательно позаботился о том, чтобы все было на месте при ее пробуждении. Папа всю ночь пробыл на пожаре. Утром нам сказали, что сгорел весь Дворец. В обеденное время мы поехали к нему и увидели, что огонь вырывается вдоль крыши, как раз над комнатами Папа. Окна лопнули и посреди пламени виден был темный силуэт статуи Мама, единственной вещи, которую не могли спасти, так как она придерживалась железной скобой, замурованной в стене.

Когда Папа в театре узнал о пожаре, он сначала подумал, что горит на нашей половине, а он всегда был против елок. Когда же он увидел размер пожара, он сейчас же понял опасность. Со своим никогда не изменявшим ему присутствием духа, он вызвал Преображенский полк, казармы которого расположены ближе всех к Зимнему дворцу, чтобы они помогли дворцовым служащим спасти картины из галерей. Великому Князю Михаилу Павловичу он отдал распоряжение следить за Эрмитажем и, чтобы уберечь последний, в несколько часов была сооружена стена, единственное, что можно было сделать, чтобы спасти сокровища, так как нельзя было и думать о том, чтобы выносить их.

В это время, пришло известие о другом пожаре, в отдаленной части города. Папа послал туда Сашу с частью пожарных, чтобы немедленно помочь несчастным. В это время уже прибывали полки из других казарм. Пришлось поставить заставы, чтобы сдерживать толпу. Папа сам назначил генералов, которые должны были в разных этажах и квартирах следить за спасением инвентаря. В необычайном порядке, безо всякой спешки, как будто речь шла о переезде, солдаты опустошили один за другим все помещения от мебели, ковров и картин и превосходили себя в проявлениях доблести и ловкости при переноске тяжелых вещей. Можно было бы до бесконечности рассказывать об этом, так же как и о многом смешном и трогательном, но это завело бы нас в дебри.

Мы опять оказались сбитыми в тесную кучу, в любимом гнезде нашего детства, Аничковом Дворце. Это был счастливейший период моей юности. Мы жили как в русской поговорке: в тесноте, да не в обиде. Теснота делала совместную жизнь более интимной, чем в Зимнем дворце, где квартиры были разделены громадными коридорами. Там невозможно было между двумя уроками быстро пожелать друг другу доброго утра, в то время, как следующий преподаватель уже ждал с уроком. И так было во всем.

Мэри выбрала себе единственную солнечную комнату, бывшую детскую столовую. Она так устроила ее, что она служила ей одновременно и кабинетом, и го-

стиной и спальней. Низи и Миша, два неразлучных, получили нашу бывшую детскую, тогда как Адини и я получили разные комнаты, потому что я, как пятнадцатилетняя, теперь ложилась позднее. Моя рабочая комната имела окно на площадь, откуда было видно, как проезжал мимо весь Большой Свет. Конечно, эта комната стала сборным пунктом для всей семьи. В обеденное время, проезжали домой чиновники из своих управлений. Около двух часов выезжал цвет молодежи, мы любовались выездами и лошадьми и обсуждали всякую мелочь.

К Рождеству, я получила свою первую обстановку: письменный стол с креслом (оно еще существует до сих пор; это то, что мой муж употребляет в своей туалетной и подобные которому он заказал для всех своих комнат). Драпировка отделяла мой кабинет от рабочей комнаты. Перед столом была стоячая лампа под розовым абажуром. В одном из углов висела картина, которую я получила тогда ко дню рождения: старик в белом одеянии с красным крестом Крестоносца. Под этой картиной стоял аналой с крестом и Евангелием. Здесь мы все исповедывались и Мэри не могла видеть головы старца без того, чтобы не вспомнить всех грехов, в которых она каялась под пристальным взглядом картины.

Папа положил, чтобы на наш стол употреблялись 25 серебряных рублей: одно блюдо на завтрак, четыре блюда в обед в три часа и два на ужин в восемь часов. По воскресеньям на одно блюдо больше, но ни конфет, ни мороженого. Для освещения наших рабочих комнат полагалось каждой по две лампы и шесть свечей, две на рабочий стол, две воспитательнице и две на рояль. Каждая из нас имела камердинера, двух лакеев и двух истопников. Общий Гофмейстер следил за служащими, к которым причислялись два верховых для поручений. У Мадам Барановой, кроме того, был еще писарь для бухгалтерии. К тому же, у каждой из нас был свой кучер. Мой Усачев умер в 1837 году и был заменен Шашиным, который сопровождал меня в Штутгарт. Прекрасный человек, прослуживший мне 37 лет и умерший в 1873 году. Я посещала его во время бо-

лезни; ему ампутировали обе ноги, но он все еще был весел и встречал меня всегда своей всегдашней доброй улыбкой и благословлял меня. Никогда и ни в чем я не могла упрекнуть его. Единственное, что ему ставилось в Штутгарте в минус, было то, что он давал слишком много овса своим русским лошадям.

Наши преподаватели получали 300 серебряных рублей в год и должны были получать эту же сумму пожизненно, как пенсию. Для нашего гардероба было ассигновано 300 рублей до нашего пятнадцатилетия, что нам никогда бы не хватило, если бы Мама не помогала нам подарками на Рождество и в Дни Рождений.

На милостыню были предназначены 5 000 рублей серебром в год. Остальное из наших доходов откладывалось, чтобы создать для нас капитал. Каждый год Папа проверял наши расходы. После его смерти, наш капитал стал употребляться для уделов.

Комнаты родителей, в этаже над нами, остались теми же, что прежде. После, когда, теперь покойный Цесаревич Никс, получил Аничков, он все переделал и это отсутствие уважения к традициям, оскорбило меня. Сашка же и Минни (Император Александр III и Императрица Мария Феодоровна) напротив, относились с уважением к Петергофскому Дворцу, что делает честь их уму и сердцу. Может быть, будет небезынтересно для истории, если я дам краткое описание комнат наших родителей в Аничковом, как они были обставлены, во вкусе 1817 года.

Спальня была обита голубым голландским бархатом, вся мебель, во вкусе Ампир, позолочена.

Туалетная — белая, без ковра, с лепными украшениями на стенах и потолке. Громадное зеркало на подставках из ляписа, занимало целую стену. Оно было еще со времен Императрицы Екатерины Великой. Перед камином стоял туалетный стол. Широкий диван стоял над опущенной в пол ванной. Кроме этого, только несколько шкафов красного дерева и на стенах картины маслом, изображавшие членов Прусского Дома.

Кабинет был обит зеленым, потолок представлял небо в звездах с двенадцатью женскими фигурами, символами месяцев года. Двойной письменный стол,

носивший шутовское название «двухспального», перед ним кресло, у камина второе для Папа и ширма, украшенная сценами из «Илиады». На окнах решетки, увитые плющом. Громадная печь, похожая своей формой на саркофаг, уставленная вазами, лампами и статуэтками. Я не знаю, было ли это красиво, но нам все нравилось и никогда я больше этого не видела. Затем еще рояль, этажерки, уставленные раскрашенными чашками (самый изысканный подарок того времени), маленькими античными вазочками и безделушками. Прекрасные старые и новые картины висели по стенам. Мою любимую картину «Святое Семейство» Франца, к моей большой радости, я увидела потом, в салоне Минни, стоящей на мольберте. Я не помню, что стало с обеими картинами Греза: девушкой, смотрящей в зеркало, и другой — с девушкой, играющей на флейте.

Будуар был очень мал, в нем помещался один диван и письменный стол, покрытый альбомами. Это было все. Сюда Мама приходила в часы, когда хотела быть одна перед Причастием, здесь велись родителями интимные разговоры и здесь же, перед прекрасным бюстом Королевы Луизы (Рауха), нас благословляли перед свадьбой. 10 марта, в день рождения ее матери, Мама украшала этот бюст венком из свежих цветов. Над письменным столом висели два ангела Сикстинской Мадонны, голова Христа, написанная мадемуазель Вильдермут (швейцаркой, гувернанткой Мама), два портреты — Саша и Мэри, акварелью, затем рисунок солдата-гвардейца, написанный Папа на дереве и кое-что, священное по воспоминаниям, совершенно независимо от художественной ценности. Сидя на ковре, мы читали в этом маленьком будуаре, особенно в Великом Посту, английскую детскую повесть об «Анне Росс», маленькой верующей девочке, умершей ребенком и, каждый раз как рассказ приближался к развязке, мы плакали горькими слезами.

Затем надо упомянуть библиотеку с простыми шкапами, затянутыми серой тафтой.

Туалетная Папа — такая крошечная, что в ней с трудом могли передвигаться три человека, стены увешанные военными сценами и английскими карикату-



рами. Библиотека Папа была устроена так же, как библиотека Мама, с той только разницей, что в ней над шкафами висели портреты генералов, с которыми он вместе служил. И наконец кабинет Папа — светлое, приветливое помещение с четырьмя окнами, два с видом на площадь, два — во двор. В нем стояли три стола, один — для работы с министрами, другой — для собственных работ и третий, который был покрыт планами и моделями, служил для военных целей. Низкие шкафы стояли вдоль стен, в них хранились документы семейного архива, мемуары, секретные бумаги. Под стеклянным колпаком лежали каска и шпага генерала Милорадовича, убитого во время бунта Декабристов 14 декабря. Затем еще портрет принца Евгения Богарнэ, рыцарский характер которого нравился Папа, как пример верности, не пошатнувшейся даже в несчастии. — Когда Папа страдал головной болью, в кабинете ставилась походная кровать, все шторы опускались и он ложился, прикрытый только своей шинелью. Никто не смел тогда войти, покуда он не позвонит. Это длилось обычно двенадцать часов подряд. Когда он вновь появлялся, только по его бледности видно было, как он страдал, так как жаловаться было не в его характере. Хотелось ли ему несколько рассеяться между работой, он вызывал к себе Орлова или Эдуарда Адлерберга. Орлов был брат Жюли Барановой и товарищем его детских игр. Его вид был мне знаком с детства но, в конце концов, я совершенно его не знала, никогда не общалась с ним ничем, кроме самых банальных слов.

Он выглядел очень молодцевато, был затянут, как во времена Императора Александра 1-го, напудрен и подтянут. Он очень тяготился своей женой, которая была набожной плаксой, он-же любил ухаживать. В конце концов, он кончил тем, что попал в руки известной кокотки, расточавшей милости от его имени. Последняя очень вредила ему, лично же — он был безупречен. Папа очень ценил его, так как он был прекрасным и понятливым работником. Мама же его не долюбивала. — Имя Орлова останется неразрывным с царствованием Папа. Всегда добродушный, всегда благодушный, он был желанным гостем у нас. Папа по-

стоянно дразнил его и называл «*mauvais sujet*». Часто приходилось искать его по крайней мере полчаса, прежде чем сесть за стол. Заботу о собственном доме, он предоставил своей жене. Он явно предпочитал наш дом, своему собственному, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Орлов принадлежал к тому типу русского человека, который сам по себе полон противоречий. Временами он мог совершенно распускаться, не одевался по целым дням, ходил в старых ночных туфлях, не брал в руки ни книги для чтения, ни одной бумаги. Но, если дело шло о каком-нибудь поручении, которое давалось ему, — его старание и умение тонко вести самые сложные переговоры, не знали себе равных. Во всех положениях, он сохранял свободу своего ума, мужество и твердость, при этом не был ни дипломатом, ни солдатом. Он обладал тем, что отмечает русского человека — «готов ко всему, чего потребует Царь».

## 1838 ГОД.

Эта зима была последней светской зимой для моих Родителей. Из любви к Саше и Мэри, которые не могли жить без развлечений, мы выезжали ежедневно, будь то театр или же балы. Иногда устраивались спектакли во дворце и я могла, если того допускала пьеса, в виде исключения присутствовать при ее постановке. Примерно двадцать балов, в том числе и «*déjeuners dansants*», на которых появлялись мы, все семеро: Саша — в казачьем мундире, Мэри — в бальном туалете, Адини и я — с лиловыми бантами в волосах, она — в коротком платьице и кружевных штанишках, я — в

длинном платье, с закрученными локонами, — состоялись этой зимой. Я была уже ростом с Мама. Кости появлялся в матросском костюме, два маленьких брата — в русских рубашках.

В два часа, после обеда, за которым подавались блины с икрой, начинались танцы и продолжались до двух часов ночи. Чтобы внести разнообразие, танцевали, кроме вальса и контрданса, танец называвшийся «снежной бурей», который был очень несложен. Его ввел Петр Великий для своих ассамблей, которые он навязал боярам, державшим до тех пор своих жен и дочерей в теремах. Когда темнело, зажигались свечи в люстрах. Это было в то время, когда танцы, и особенно мазурка, достигали своего апогея. Никогда на этих празднествах не присутствовало больше чем сто человек, и они считались самыми интимными и элегантными праздниками. Только лучшие танцоры и танцорки, цвет молодежи, принимали в них участие. В пять часов бывал парадный обед, после которого появлялись еще некоторые приглашенные. Мама тогда немного отдыхала, меняла туалет и появлялась, чтобы поздороваться с вновь прибывшими. После этого общество следовало из Белого зала в длинную галерею и празднество продолжалось с новым воодушевлением. Мама любила танцевать и была прелестна при этом. Легкая как перышко, гибкая как лебедь, такой еще я вижу ее перед собой в белоснежном платье, с веером из страусовых перьев в руках.

Папа танцевал, в виде исключения, только в кадрили. Его дамами были мадам Крюденер, княгиня Юсупова и Лиза Бутурлина, последняя очень красивая, любезная и естественная. В воскресенье перед постом, на маслянице, ровно в двенадцать часов ночи трубач трубил отбой и по желанию Папа танцы прекращались, даже если это было среди фигуры котильона. Я уже упомянула, что Папа принимал балы как неприятную необходимость, но их не любил. Больше всего ему нравились маскарады в театре, которые были подражанием балов в парижской «Опера» и с некоторых пор введены и у нас. Как Гарун-аль-Рашид, он мог там появляться и говорить, с кем угодно. Благодаря этому, ему

удавалось узнавать многое, о чем он даже не подозревал. Среди этого были и сведения о недостатках, которые он мог устранить, и нужда, которой можно было помочь и даже принести облегчение в вопросах сердца, так как ему случалось слышать о том, что родители в некоторых случаях выдавали своих детей замуж или же женили, руководствуясь только материальным расчетом. Это было так прекрасно в Папа, что он всех людей расценивал по себе самому. Благодаря этому он действительно притягивал людей к себе. Кто пользовался его доверием, тот пользовался им неограниченно. Конечно были и разочарования, — в конце концов нет совершенства, — но ему было приятнее разочаровываться, чем жить в недоверии.

На одном из этих маскарадов, Папа познакомился с Варенькой Нелидовой, бедной сиротой, младшей из пяти сестер, жившей на даче в предместье Петербурга и никогда почти не выезжавшей. Ее единственной родственницей была старая тетка, бывшая фрейлина Императрицы Екатерины Великой, пользовавшаяся также дружбой Бабушки. От этой тетки она знала всякие подробности об юности Папа, которые она рассказала ему, во время танца, пока была в маске. Под конец вечера она сказала, кто она. Ее пригласили ко Двору и она понравилась Мама. Весной она была назначена фрейлиной.

То, что началось невинным флиртом, вылилось в семнадцатилетнюю дружбу, длившуюся до самой смерти Вареньки. Свет, не будучи в состоянии верить в хорошее, начал злословить и сплетничать. Признаюсь, что я всегда страдала, когда видела как прекрасные и большие натуры, сплетнями сводились на низкую степень и мне кажется, что сплетники унижают этим не себя одних, а все человечество. Я повторяю то, о чем уже говорила однажды: Папа женился по любви, по влечению сердца, был верен своей жене и хранил эту верность из убеждения, из веры в судьбу, пославшую ему ее, как Ангела-Хранителя.

Варенька Нелидова была похожа на итальянку со своими чудными, темными глазами и бровями. Но

внешне она совсем не была особенно привлекательной, точно сделанной из одного куска. Ее натура была веселой, она умела во всем видеть смешное, она легко болтала и была достаточно умна, чтобы не утомлять. Она была тактичной, к льстецам относилась как это нужно, и не забывала своих старых друзей после того, как появилась ко Двору. Она не производила очень благородного впечатления, но была прекрасной душой, услужливой и полной сердечной доброты. Она подружилась с Софи Кутузовой, дочерью петербургского генерал-губернатора. Благодаря несчастному случаю, последнюю подвергали различным лечением, как подвешиванию, прижиганию каленым железом и другим мучениям, так что она долго была полуумирающей. Она кричала день и ночь от боли, покуда Мандт (лейб-медик) не услышал о ее болезни и не стал лечить ее другим методом, который, в конце концов, после долгих лет, исцелил ее. Мама, которая очень любила мать Софи, часто навещала ее из сострадания. Софи платила ей благодарностью и называла ее матушкой. Она носила развевающиеся платья, чтобы скрыть свое убожество. Правильные черты ее лица напоминали римлянку. Варенька и Софи жили дверь к двери. Обе почти не выезжали и имели собственный круг знакомых. Я наблюдала, что женщины такого типа нравились деловым мужчинам, как так называемые «душевные халаты». Папа часто после прогулки пил чай у Вареньки; она рассказывала ему анекдоты, между ними и такие, которые никак нельзя было назвать скромными, так что Папа смеялся до слез. Однажды от смеха его кресло перевернулось назад. С тех пор кресло это стали прислонять к стене, чтобы подобного случая не повторилось.

После этого отступления я вернусь снова к воспоминаниям 1838 года.

Адини в то время была еще таким ребенком, что ей доставляло удовольствие играть и шалить с маленькими братьями. Таким образом я была лишена сверстницы, с которой могла бы быть откровенной. После нача-

ла поста был конец всем празднествам. Только немногие приглашенные собирались по вечерам у Мама в зеленом кабинете, где по большей части читали вслух. Между этими гостями часто бывала княгиня Барятинская со своей дочерью Марией. Ее застенчивость и скромность показали мне родственными и вскоре мы подружились. Она была серьезной и глубоководующей. Дружба между нами носила тот характер, о котором я всегда мечтала: она облагораживала наши натуры. Мы обе были полны идеалов, соответственно нашему возрасту и при всей нашей сдержанности, очень мечтательны. Мы особенно ревниво оберегали наши желания, мысли и идеи от постороннего взгляда, чтобы не быть высмеянными. Мария Барятинская была блондинка с черными бровями, ее взгляд, если она кому-нибудь симпатизировала, был полон тепла, которого я не встречала ни у кого, кроме Императрицы Марии Александровны (жены Императора Александра II). Но, возможно, что это потому, что именно эти обе натуры, которых я искренне любила, были одна моим другом, другая — невесткой, и сорок лет подряд между нами никогда не было ничего, что могло бы омрачить нашу дружбу.

Ростом Мария Барятинская была такая же, как я. Когда она распускала волосы, они покрывали ей колени; косу же она обвивала три раза вокруг головы и скрепляла ее золотой шпилькой. Я вспоминаю одно празднество в день рождения Папа в Петергофе. Несмотря на то, что Барятинские жили в девяти верстах оттуда, она приехала со свежими цветами в волосах. Большинство цветов было еще в бутонах, и в тепле, во время танца, они распустились. Портрет известной художницы Робертсон запечатлел ее, во всей ее прелести, играющей на рояле. В 1841 году она вышла замуж за Михаила Кочубея и, восемнадцать месяцев спустя, ее не стало. Она скончалась от злокачественной лихорадки в несколько часов. Как коротка была эта дружба! Но след о ней остается неизгладимым в моей душе. Ее сестра Леонила, будущая княгиня Витгенштейн, была также очень привлекательна, но ее красота была человеческого характера, в то время, как Мария походила на

ангела. В Марии я нашла отголосок меня самой и эта четырехлетняя дружба была прекрасна.

Весной этого (1838) года здоровье Мама пошатнулось. Она страдала кашлем и несварением желудка. Лейб-медики Маркус и Раух были в горе и отчаянии. Пригласили на консилиум Мандта (по моему очень неудачный шаг). С того дня, как он появился, стало доминировать его мнение: тяжелое, деспотическое, как приговор судьбы. На Папа он имел громадное влияние, я сказала бы, прямо магическое. Папа слушался его беспрекословно. Мандт нарисовал ему будущее Мама в самых черных красках. Его методом было внушить страх, чтобы потом сделаться необходимым. Мама он прописал следующее лечение: ничего жидкого, никаких супов, зато ростбиф, картофельное пюре, молочную кашу, кожуру горького апельсина. И это неделями! Затем стали говорить о курсах лечения за-границей, в Зальцбрунне или Крейте. Как только Папа услышал об этом, Он помрачнел, но на Мандта это не произвело никакого впечатления. «Вы, Ваше Величество, поедете в это время в Теплиц и полечите Вашу ключицу, в то время как мы будем лечить Императрицу, с мая по сентябрь». Это были его слова и так он тогда и поступил.

Теперь был черед Адина представиться Дедушке. Маленькие братья, которые стали очень красивыми мальчиками, и Саша, должны были сопровождать родителей. Кости плавал в это время в Балтийском море. Мэри же и меня, родители не хотели брать с собой, чтобы не выставлять нас на показ как невест. Семейная жизнь была нарушена! Вместо уюта в Петергофе, все были разрознены.

Саша уезжал с тяжелым сердцем. Он был влюблен в Ольгу Калиновскую (польская дворянка, фрейлина) и боялся, что, во время его отсутствия, ее выдадут замуж. В мае поехали в Берлин. Адина писала с дороги интересные письма, полные наблюдательности и юмора. Из Берлина Саша поехал в Стокгольм, где появился неожиданно и Папа, чтобы повидаться со старым королем. Этот визит вызвал необычайное внимание в Европе. Саша посещал исторические места, как Грипсгольм и Дроттинггольм, поехал и в Копенгаген к

Королю Фридриху и наконец в Ганновер, где он тяжело простудился. Вместо того, чтобы продолжать путешествие, он должен был ехать полечиться в Эмс, затем на виноградное лечение у озера Комо и наконец провести зиму в Италии.

Мэри и я оставались в Петергофе на попечении князя Голицина и княгини Кочубей, которая незадолго до того была назначена Обергофмейстериной. Она с молодости была дружна с нашими родителями и обладала массой замечательных качеств. Мэри же и я находили, что она пахнет вялыми цветами и настолько сильно, что это затемняло все ее хорошие качества. Ее сын Григорий, в то время юнкер Артиллерийского училища, стал потом вторым мужем Мэри. Наша жизнь была довольно веселой; на лошадях-ли, парходом или верхом, мы выезжали почти каждый день, после обеда. До обеда каждый делал, что хотел, затем мы завтракали все вместе в Садовом Зале где и составлялись планы на следующий день. В день рождения Мэри был устроен деревенский праздник. Ей поднесли хлеб-соль, фрукты и мед. Парни и девушки в народных костюмах пели народные песни и такие, которые были специально разучены к этому дню. Она была тронута до слез и несколько раз повторяла, что никогда не покинет Отечества.

На следующий день была предпринята поездка на крестьянских телегах в колонии швабов. Пятьдесят лет назад там поселили вюртембергцев из Гейденгейма и те сохранили не только свои костюмы и язык, но и архитектуру своих домов, своей школы и кирки. Что их бывшая родина станет потом моей, а в то время не могла еще и подозревать.

Почти каждый день был заполнен развлечениями: французский театр, любительские спектакли, живые картины и танцы. Правда я разговаривала иногда с приятными людьми, но мне недоставало общества Мама, которая не любила ничего неестественного и вокруг которой всегда была благодушная и здоровая атмосфера. Тут процветали лесть и поддельвание под нас. Поэтому я чувствовала себя гораздо счастливее со своим роялем и книгами.



Совершенно неожиданно пришел приказ, чтобы мы грузились на «Геркулес» в сопровождении князя Меншикова и Сэсиль Фредерикс. Дедушка просил Папа доставить ему удовольствие видеть также Мэри и меня. Папа согласился не особенно охотно и дал нам знать, что мы должны быть 30 августа в Потсдаме. Но шторм на море, на высоте Готланда, задержал нас, а порванный парус заставил зайти в Ревель. Мой шестнадцатый день рождения праздновался в замке милейшей семьи Медем. Из Мемеля мы отправились дальше в Потсдам почтовыми лошадьми. Несколько дней наши родители оставались без вестей о нас. Знали только о штормах в Балтийском море и о различных крушениях кораблей, так что они очень беспокоились. Свидание было тем более радостным и приятным. Дедушка с семьей принял нас в Сансуси. Мы, три сестры, спали с Мама в комнате, где умер Фридрих Великий. Там еще висели часы, которые остановились в час его кончины.

Несколько раз приезжали и сестры Мама, и также спали у нас. Было тогда так, как в дортуаре: шутки и смех без конца. Мы выскакивали из окон и бегали в ночных рубашках по террасе, затем кто-нибудь из дядей подкрадывался к нашему окну и стучался, чтобы напугать нас, что вызывало новые взрывы хохота.

За стол садились только в семейном кругу, примерно человек тридцать, в Ротонде, известной по рисункам Менцеля. Дедушка всегда сидел между Мама и одной из других своих дочерей или невесток, Мэри, Адини и я должны были сидеть напротив него; он любил на нас смотреть и любоваться красотой Мэри, мною — слабо напоминавшей Мама, и Адини, которая была его любимицей. Она, по его словам, была единственной из нас похожей на пруссачку со своим вздернутым носиком и лукавым личиком.

Мы были также на маневрах 2-го Гвардейского полка и на его бивуаке в Груневальде. Там солдаты пригласили нас помочь им при чистке картофеля: мы опустились на колени в траву и сразу принялись за работу. Один унтер-офицер, который заметил, что мы слишком толсто срезаем кожуру, укоризненно сказал,

что мы нехорошие хозяйки. Эта сцена так понравилась королю, что он приказал ее зарисовать и потом дарил литографии с нее.

— В Шарлоттенбурге был завтрак с танцами, который запомнился мне потому, что котильоня танцевала с кронпринцем баварским Максом, племянником тети Элизы (кронпринцессы Прусской). Там хотели, чтобы Макс женился на одной из нас. Подумали конечно сейчас же о Мэри. Но кронпринц, который нашел во мне сходство с владетельницей старого замка Гогеншвангау, изображенной на одной фреске, сказал себе: эта или никто. Он постоянно рассказывал о преданиях своих гор, своих поэтах, своей семье, своем отце, который не понимает его, своей мечте о собственном доме, а также о том, какие надежды он возлагал на свою будущую супругу, словом только о том, что явно вертелось вокруг него самого. Я часто говорила невпопад, оттого, что страшно скучала, не понимая, что это его манера ухаживать. Никто не решался при нем приглашать меня танцевать, чтобы не прерывать нашего разговора, что меня очень сердило. Уже ожидали официального объявления нашей помолвки. Только я одна, в своем ребячестве, ничего об этом не подозревала. На следующий день, после завтрака в Шарлоттенбурге, когда молодежь направилась пешком домой, кронпринц опять провожал меня. Я побежала вокруг пруда, чтобы избавиться от него. Он попробовал встретиться со мной, идя мне навстречу, тогда я бросилась к дяде Вильгельму, повисла на его руке и просила не покидать меня больше. В воротах Сансуси стояла женщина из Гессен-Дармштадта и продавала плетеные корзинки. Сначала я взяла одну, потом две, потом больше, оттого, что они были очень красивы и могли служить прелестным гостинцем для оставшихся дома приятельниц. Кузены стали усмехаться, спрашивая по-немецки: «Однако, ты хочешь раздать много корзин». (По немецки «дать корзину» — это отклонить что либо). Тетя Элиза была явно возмущена этим намеком: «Кто позволил вам говорить о корзинах?». Мой немецкий язык был слишком слаб для того, чтобы понять этот намек, но мне все же было не по себе. Наконец на помощь подоспела Ма-

ма: «Оставьте ее в покое, она не понимает даже чего вы от нее хотите». Она взяла Мэри и меня в сторону, объяснила намерения кронпринца Макса и рассмеялась громко, когда я в отчаяньи закричала: «Нет, нет, нет».

Во время курса лечения ваннами в Крейт в Баварских Альпах на горизонте появился второй претендент на брак. Это тоже был принц Макс, но не из королевского Дома, а тот Макс Лейхтенбергский, который однажды, во время маневров в Гатчине, так понравился Мэри. Его мать, принцесса Августа Баварская, сестра короля была замужем за Евгением Богарнэ. После этого, он получил титул герцога Лейхтенбергского.

После смерти своего мужа она большую часть времени проводила в своем замке Эйхштеттен или в Анконе и с успехом управляла очень значительным состоянием своих детей. Когда умер ее старший сын (женатый на королеве Португальской) и все дочери были замужем, вся ее любовь сконцентрировалась на младшем сыне Максе, красивом, веселом молодом человеке, с очень симпатичным характером. Его происхождение со стороны отца, пасынка Наполеона, не было конечно блестящим. Мать его очень страдала, видя как в Крейте, где вдовствующая королева Баварская Каролина строго придерживалась придворного этикета, ее сын был низшим по рангу. Так, например, он сидел на табуретке, в то время, как все остальные сидели в креслах, и должен был есть с серебра, тогда как все другие ели с золота. Он только смеялся, совершенно не придавая этому значения. Папа же он понравился и он надеялся, что Макс будет тем мужем, который последует за Мэри в Россию. Внимание Папа к его матери, очень нравилось последней, когда же Папа упомянул о возможности брака, ее счастье было безграничным. Макс-же, не видевший Мэри со своего посещения России и никогда не забывавший ее, был в восторге. Он сейчас же согласился на условие Папа: поступить в русскую армию, а также крестить и воспитывать детей в православной вере. Они, а также он сам, становились членами Императорской Фамилии и имели те-же права и титулы. Его матери было нелегко думать о рус-

ских крестинах предстоящих внуков, что в ее глазах было ересью, но в конце-концов она согласилась и в октябре того же года Макс прибыл в Царское Село.

Прежде чем я перейду к событиям после нашего возвращения, я должна еще упомянуть о посещении Папа короля Вюртембергского в замке последнего Фридрихсхафен. Там были королева, еще очень красивая женщина, три дочери, причем младшая, Екатерина, прелестная и очень женственная. Кронпринцу Карлу (впоследствии моему мужу) было пятнадцать лет. Это был симпатичный мальчик с интересным, но грустным лицом. Его отец, отличавшийся трудным характером, относился к нему не хорошо. Кроме них, был еще там граф Вильгельм Вюртембергский, тощий и длинный, настоящий Дон-Кихот. Все были довольно молчаливы, не было уюта и чувства симпатии друг к другу. И Карл не сохранил приятных воспоминаний об этой встрече. Папа был счастлив скоро уехать отсюда.

Но вернемся опять к Максу и Мэри. Она была влюблена и чувствовала себя на вершине блаженства. 6-го декабря в Петербурге, в церкви Эрмитажа, была торжественно провозглашена помолвка. Мэри в русском парадном платье была очень хороша. Белый тюль, затканый серебром и осыпанный розами обволакивал ее. Мама сама придумала ее наряд. Он был так прекрасен, что с тех пор стало традицией одевать его во всех парадных случаях.

Мэри и в самом деле осталась в России. Сознание не потерять ее и приобрести такого милого и хорошего зятя делало нас всех счастливыми. Все казалось было к лучшему. Но общественность судила иначе. Внук Богарнэ, принц по милости Наполеона, смесь французской и немецкой крови, что за странные элементы проникли в Царскую Семью! И Саша не видел тоже ничего хорошего в этом и писал о своих сомнениях из Италии, где он должен был оставаться еще некоторое время. Даже одна из теток разделяла его заботу о том, что Великая Княжна, остававшаяся со своим мужем в России, может только повредить благодаря своему влиянию на то или иное. Бедный Макс! Он отдал сердце

и душу совершенно чистосердечно, безо всякой мысли о том, что за заботы может вызвать этот его шаг. Он был красивым мальчиком, хорошим танцором и любезным кавалером, живой и веселый. Вначале гарнизонная жизнь причиняла ему некоторые трудности, так же как и более строгие правила жизни в Петербурге; у него дома царило гораздо больше свободы в отношении общения различных классов. Ввиду того, что он интересовался искусством и понимал его, Папа назначил его Председателем Академии Художеств. Кроме того, он интересовался ботаникой и имел значительные знания в области минералогии. Это позволило ему общаться со знатоками и профессорами и сделало его таким образом популярным. Он стремился к тому, чтобы учредить научное общество с той целью, чтобы предоставить новейшие открытия в области естествознания в помощь промышленности. Гальванопластическая фабрика Шопена была основана на средства, которые предоставил Макс. Вызвало немало удивления, когда общество узнало, что он был учредителем промышленного предприятия и его акционером. Его прекрасные начинания были превратно истолкованы людьми, совершенно недостойными. Это было его первым разочарованием до того, как из-за своего плохого здоровья он должен был надолго уехать от нас. Но не буду начинать седлать коня с хвоста: до свадьбы оставалось еще 6 месяцев.

Мэри и Макс, эта совершенно откровенно друг в друга влюбленная пара, были для младших членов семьи постоянным предметом любопытства. Я, которая была назначена к ним жандармом, видела свои обязанности в том, чтобы, главным образом, отвлекать от них внимание. Я садилась, например, в другом конце комнаты таким образом, чтобы Кости и Адина сидели спиной к жениху с невестой, и рассказывала им необычайно длинную и интересную историю, которая тянулась все время, пока Макс был в Петербурге. Я в то время была исполнена самых жертвенных чувств: ничто не казалось мне прекраснее того, чтобы отдать сердце и душу тем, кого любишь. Это чувство укреплялось за чтением таких книг, как «Тереза или маленькая хри-



**Великая Княжна Мария Николаевна (Мэри).**



столубивая сестра» и ей подобных. История одной девочки, которая во времена Французской Революции пошла на эшафот, чтобы спасти жизнь своей подруги, привела меня на вершину моей жертвенности. Если обстоятельства для жертвоприношения и не совсем подходили к случаю, то мне все же удалось привести свою аудиторию рассказом этой трогательной истории к слезам. Мой рассказ был настолько трагичен, что меня попросили даже, чтобы я как-нибудь смягчила конец. Если мои чувства и мышление и были несколько экзальтированными, то все это смягчалось тем благородным побуждением, которым они были вызваны.

В то время было несколько случаев смерти, искренне огорчивших наших родителей. Особенно убита была Мама смертью своей камерфрау Ключгель; последняя была дана ей вместе с приданным из Берлина и несмотря на то, что в нашем доме вообще было традицией почитать старых слуг, к ней Мама относилась особенно сердечно. В Риме умер князь Ливен, который сопровождал туда Сашу. На его место был назначен Алексей Орлов.

Не могу не упомянуть о назначении графа Бобринского ко мне камергером. Он был так любим всеми нами за его приятный и добросовестный характер, что мы называли его «дядей». Это назначение сгладило опять то, что ему пришлось вынести из-за того, что он стал во главе предприятия, которое построило первую железную дорогу между Петербургом и Павловском. Враги этого предприятия были неисчислимы; между ними был даже дядя Михаил. В нем видели возрождение новой революционной ячейки, которая могла привести к нивелировке классов и другим еще более страшным вещам. Дядя Михаил сдался только тогда, когда ему пообещали, что он получит в своем парке такую же беседку для музыки, как в Баден-Бадене и других немецких курортах.

Папа же для того, чтобы подать пример, устроил деревенскую поездку, большим обществом, по железной дороге из Петербурга в Царское Село. Это чуть не окончилось трагично. Искры, которые врывались в окно, зажгли скатерти, тотчас же поднялась общая



паника, которая, к счастью, не имела никаких последствий. Только некоторым дамам сделалось дурно. Говорили, что пример прекрасного поведения проявил маленький граф Пальфи, который тоже участвовал в этой поездке. Как всегда, с непокрытой головой, он остался непоколебимым на своем месте в то время, как искры падали на него. Но вообще все прошло благополучно и к общему удовольствию, и графа Бобринского напропалую хвалили. Он вообще любил нововведения и был первым, который ввел посадку сахарной свеклы у себя в имениях, а затем выписал паровые машины и английских механиков, чтобы начать фабричным способом выделывать сахар.

## 1839 ГОД

В то время как Саша отсутствовал, а Мэри была всецело поглощена своим женихом, я снова сблизилась с Адими, которая постепенно превращалась в подростка. — Прелестная девочка, беспечная как жаворонок, распространявшая вокруг себя только радость. Ранняя смерть это привилегия избранных натур. Я вижу Адими не иначе, как всю окутанную солнцем.

Уже совсем маленьким ребенком она привлекала к себе прелестью своей болтовни. Она обладала богатой фантазией и прекрасно представляла не только людей, но даже исторические персонажи, точно переселяясь в них. В одиннадцать лет она могла вести за столом разговор, сидя рядом с кемнибудь незнакомым, точно взрослая, без того, чтобы казаться преждевременно развитой: ее грациозная прелесть и хитрая мордочка говорили за себя. Все в доме любили ее, придворные

дети ее возраста, обожали ее. Я уже упомянула, что у нее было прекрасное сопрано. Придворные дамы, понимавшие толк в пении, время от времени занимались с ней, отчего она даже была в состоянии, если и не без сердцебиения, петь дуэты со старым певцом Юлиани. Он преподавал пение в Театральном Училище и Адини была очень польщена, что он принимал ее всерьез. Грация ее существа сказывалась во всем, что она делала, играла ли она со своей собакой, взлезала ли на горку или же просто надевала перчатки. Ее движения напоминали Мама, от которой она унаследовала гибкую спину и широкие плечи. В семье она называлась всеми «Домовой». Ее английская воспитательница, поставившая себе задачей закалить Адини, выходила с ней во всякую погоду, что в один прекрасный день вызвало сильный бронхит, — и ее жизнь была в опасности. Благодаря своему прекрасному организму, она оправилась совершенно, но с болезнью исчез в ней ребенок. Близость смерти сделала ее совершенно иной. Смысл и строгость жизни и мысли о потустороннем стали занижать ее. Вся исполненная особого благоговения готовилась она в Посту, вместе со мной, к Причастию. Бажанов, наш духовник, заметил, что она производит впечатление, точно едва ступает по земле. И несмотря на это она отнюдь не была натурой, которые теряются в неведомом, она осталась попрежнему веселой, стала только более спокойной и гармоничной, чем прежде. Мы много говорили с ней, особенно о будущем, так как мы были еще очень молоды, чтобы говорить о прошлом. Мы говорили, главным образом, о наших будущих детях, которых мы уже страстно любили, говорили о том, что внушим им уважение ко всему прекрасному и главным образом к предкам и их делам, и привьем им любовь и преданность к семье. Наши будущие мужья не занимали нас совершенно, было достаточно, что они представлялись нам безупречными и исполненными благородства.

В то время у нас появилась новая фрейлина, Вера Столыпина. После Марии Барятинской, она стала мне очень близка. Дружба, которая была между нами, носила скорее товарищеский характер и была совершен-

но иной, чем с Марией. Она была сиротой нашего возраста. Симпатия с обеих сторон проявилась с первого взгляда, когда мы в том году увидели ее впервые на выпускном экзамене в Смольном, где присутствовали, как заместительницы Мама. Вера была в числе девиц, окончивших институт. По нашему настоянию навели справки о ней. Она жила у своих дедушки с бабушкой и последние очень неохотно дали свое согласие на назначение ее ко Двору, оттого, что она была еще очень молода. Вначале ее отпускали к нам только днем, с тем чтобы ежевечерне она возвращалась домой. Адини и я были очень счастливы иметь ее при нас. Серьезность и веселость переплелись в ней очень удачно. Маленький, может быть даже незначительный, случай может послужить тому примером. После балов или других светских развлечений, которые доставляли ей особенное удовольствие, она любила на следующий день «как противоядие», как она сама говорила, заниматься особенно серьезным чтением или решением трудных задач, которых не любила, для того, чтобы «умертвить плоть». Такова была наша маленькая Вера. Сколько часов веселья, радости или ненастья мы разделили с ней!

Наша тетя Елена (жена Великого Князя Михаила Павловича) нашла, что мы живем слишком замкнуто среди одинаковомыслящих, ни одна новая идея не проникает к нам и нас нужно бы несколько встряхнуть в нашем девичьем спокойствии. В один прекрасный день, когда она услышала певшийся нами припев одного романса, в котором говорилось о том, что только озаренный любовью день прекрасен, она спросила нас, понимаем ли мы смысл этих слов. Последовали один за другим вопросы, из которых стало ясно, насколько мы слепы и далеки от жизни. Тем, что меня приобщили к светской жизни, конечно, я обязана ей. Она приезжала за мною, чтобы взять на свои вечера, к которым приглашалась масса молодежи; в Михайловском дворце устраивались живые картины, в которых должна была принимать участие и я, и однажды меня пригласили на несколько часов на Елагин остров. Там я произвела, как мне потом говорили, впечатление вспугну-

той лани. В фейерверке игривых слов, галантных шуток и ничегонезначащей болтовни, как это принято молодежи в обществе, я чувствовала себя вначале потерянной. Это была атмосфера, полная магнетической силы, свойственной молодежи, и в конце-концов и я подпала под ее влияние. Я поймала на себе взгляд глаз, которые уже сопровождали меня в обществе тети Елены. Прежде чем я успела понять, этот взгляд уже заглянул в мою душу. — Я не могу передать того, что я пережила тогда: сначала испуг, потом удовлетворение и наконец радость и веселость. По дороге домой я рассказала Анне Алексеевне обо всех моих впечатлениях, очень разговорчивая и необычно откровенная. Она была моей поверенной и ни одного чувства я не скрыла от нее. Я вспоминаю еще сегодня, как она спросила меня: «Нравится он вам?» — «Я не знаю», ответила я, — «но я нравлюсь ему». — «Что же это значит?» — «Мне это доставляет удовольствие». — «Знаете ли вы, что это ведет к кокетству и что это значит?» — «Нет». — «Из кокетства развивается интерес, из последнего внимание и чувство, с чувством же вся будничность может пошатнуться; вы знаете прекрасно, что замужество с неравным для вас невозможно. Если же вам подобно «доставляет удовольствие», то это опасное удовольствие, которое не может хорошо кончиться. О вас начнут сплетничать, репутация молодой девушки в вашем положении очень чувствительна; не преминут задеть насмешкой и того, кто стоит над вами. Помните это всегда!»

Несколько дней спустя пришло письмо от Саши, которого я так любила и мнение которого для меня значило все. Это письмо оказалось значительным для всей моей последующей жизни, если бы события и повернулись иначе, чем я тогда могла думать. Саша совершенно поправился и, покинув Италию, проводил весну в Вене. Эрцгерцоги Альбрехт, Карл-Фердинанд и Стефан, которые были с ним одного возраста, сейчас же подружились со своим гостем. Стефана же, который был сыном венгерского Палатина эрцгерцога Иосифа, женатого первым браком на покойной сестре Папа, он

любил особенно. Стефан выделялся своими способностями, предсказывавшими ему блестящую будущность. Ввиду того, что он любил Венгрию и по венгерски говорил так же свободно, как по немецки, в Будапеште в нем видели наследника его отца. Саша, исполненный братской любовью ко мне, написал родителям, что Стефан достойнее меня, чем великолепный Макс (кронпринц Баварский, никому в нашей семье не понравившийся). Стефан был приглашен на свадьбу Мэри, назначенную летом, и это приглашение Веной было принято. Я же считала себя уже невестой. Слово, данное мною в глубине сердца совершенно неведомому мне Стефану, уберегло меня от всевозможных неожиданностей чувства. Я придерживалась этого немого обещания до того дня, как встретила Карлом и мое сердце заговорило для него. Но до этого дня еще далеко.

Здесь я должна рассказать немного о Саше и его поездке по Германии, где он посетил Мюнхен, Штуттгарт и Карлсруэ. Там, в Карлсруэ, была принцесса, подходившая ему по возрасту, которая могла бы стать его невестой. Она сидела за столом рядом с ним и ему предложили возможность разговаривать с ней долго и подробно. О чем же говорила она? О Гетэ и о Шиллере, пока Саша совершенно обескураженный, отказался от этого разговора. Было взаимное разочарование и Саша уехал во Франкфурт, чтобы оттуда проехать в Англию. Весной уже, в Берлине, он пережил подобное же разочарование с Лилли, принцессой Мекленбург-Стрелицкой, и его свита не переставала дразнить его неудачными невестами. Один из свиты, — кажется, Барятинский, — заметил: «Есть еще одна молодая принцесса в Дармштадте, которую мы забыли посмотреть». «Нет, благодарю», ответил Саша, «с меня — довольно, все они скучные и безвкусные». И все же он поехал туда и Провидению было это угодно. Под вечер он прибыл в Дармштадт. Старый герцог принял его совместно со своими сыновьями и невестками. В глубине кортежа, совершенно безучастно, следовала девушка с длинными, детскими локонами. Отец взял ее за руку, чтобы познакомить с Сашей. Она как раз ела вишни и

в тот момент, как Саша обратился к ней, ей пришлось сначала выплюнуть косточку в руку, чтобы ответить ему. Настолько мало она рассчитывала на то, что будет замечена. Это была наша дорога Мари, которая потом стала супругой Саши. Уже первое слово, сказанное ему, заставило его насторожиться; она не была бездушной куклой, как другие, не жеманилась и не хотела нравиться. Вместо тех двух часов, которые были намечены, он пробыл два дня в доме ее отца. Никто до сих пор ничего не слышал об этой принцессе, выросшей очень замкнуто со своим братом Александром, в то время как остальные братья уже были давно женаты. Стали собирать сведения, Мама написала Елизавете, дочери тети Марьянны, чтобы узнать побольше. Ответ был очень положительным. Правда, ей еще не было и 15-ти лет, но она была очень серьезна по натуре, очень проста в своих привычках, добра, религиозна и должна была как-раз подтвердиться. Нельзя было терять времени. Можно себе представить, какое волнение вызвало в Дармштадте, да и во всей Германии известие, что внимание Саши остановилось на девушке, о существовании которой до сих пор никто ничего не знал. Неужели он в самом деле станет ее женихом и не было ли это похоже на то, что выбор Наследника Русского Престола пал на Сандрильону?

Саша прибыл в Лондон, когда «сезон» был в полном разгаре. Свободно воспитанные девушки, поездки верхом в Гайд-Парке, пикники на свежем воздухе с веселыми элегантными людьми, все это очень понравилось ему. Королеве Виктории, в то время еще незамужней, было 19 лет. Говорили, что она краснела, когда упоминалось его имя. Когда он склонился к ее руке, она приятельски хлопнула его по щеке. Он видел всю Англию от Лондона до Эдинбурга и посетил все промышленные и живописные центры страны. Но нужно было думать и о возвращении домой, ввиду того, что на 1-ое июля, (день рождения Мама) была назначена свадьба Мэри. О нем все, где он побывал, сохранили самые лучшие воспоминания, главным образом, благодаря его необычайной доброте.

Жаркое лето этого года мы проводили в Елагином

Дворце, откуда если это было нужно могли ездить в Петербург. Приданое Мэри было выставлено в трех залах Зимнего Дворца: целые батареи фарфора, стекла, серебра, столовое белье, словом все, что нужно для принадлежности туалета, белье, шубы, кружева, платья, и в третьем зале — русские костюмы, в количестве двенадцати, и между ними — подвенечное платье, воскресный туалет, так же как и парадные платья со всеми к ним надевающимися драгоценностями, которые были выставлены в стеклянных шкафах: ожерелья из сапфиров и изумрудов, драгоценности из бирюзы и рубинов. От Макса она получила шесть рядов самого отборного жемчуга. Кроме этого приданого, Мэри получила от Папа дворец (который был освящен только в 1844 году) и прелестную усадьбу Сергиевское, лежавшую по Петергофскому шоссе и купленную у Нарышкиных. Я не буду описывать свадьбу и все к ней относящиеся торжества. В пурпурной Императорской мантии, отделанной горностаем, Мэри выглядела невыгодно; она совершенно скрывала тонкую фигуру и корону Великой Княжны тяжело лежала на ее лбу и не шла к ее тонкому личику. Но его выражение было приятливым, даже веселым, а не сосредоточенным, как то полагалось. В браке она видела освобождение от девичества, а не ответственность и обязанности, которые она принимала на себя.

Эрцгерцога Стефана не было на свадьбе. Только потом мы узнали, что его мачеха (урожденная Принцесса Вюртембергская) воспрепятствовала этой поездке из ревности к своей предшественнице (сестре Папа) и не желала поэтому иметь Великую Княжну своей невесткой. Тогда же только мы получили извещения из Вены о том, что поездка Стефана в Россию отложена. Таким образом приехал только Эрцгерцог Альбрехт. Я заметила вскоре, что он был влюблен в меня, что меня очень испугало не только из-за моего внутреннего обещания, но и оттого, что он не нравился мне физически, несмотря на то, что он был как и моим так и моей Семьи лучшим другом. — Постоянно я прибегала к Мама, как только он появлялся, чтобы мне не

оставаться с ним наедине. Он прогостил у нас некоторое время, чтобы отбывать военную службу. Папа очень любил его; он был главным образом солдатом. В битве при Анторце он впоследствии доказал это. Скромный, воспитанный по-спартански, необычайно чистый по натуре, этот молодой человек, как все люди, имевшие благородное сердце, питал глубокое уважение к Папе.

После свадебных торжеств, мы возвратились в покой нашего Петергофского Дворца. Какая благодать после всех шумных празднеств! Но для родителей, отсутствие Мэри было очень чувствительным. Меня невозможно было сравнить с ней и заменить ее я никак не могла, наши натуры были полными противоположностями. И Адини была иной, чем я, но все-таки мы прекрасно ладили друг с другом. Но несмотря на все разности наших характеров, мы, старшие четыре, были очень дружны между собой. Мы жили одинаковой жизнью, в которой каждое слово, каждое впечатление, звучало как звук того же инструмента. Макс совершенно включился в этот семейный хор. Тетя Елена дразнила нас постоянно: «Вы как стадо баранов, один как другой, безо всяких особенностей природы». Она несомненно, в какой-то степени, была права. Дисциплина, своими совершенно определенными правилами, державшая нас в границах, может и могла, у характера посредственного, отнять всякую инициативу, но — какой замечательной поддержкой была она нам!

Через 6 недель после свадьбы Мэри, было торжественно объявлено, что она готовится стать матерью. Только Мама была сконфужена: она сама всегда старалась скрыть свое положение до пятого месяца. Но в общем этот год принес много забот..

Сначала поводом к этому был Саша. Не успел он вернуться из своего путешествия, которое принесло ему столько развлечений и удовольствия, как его любовь к Ольге Калиновской снова разгорелась жарким пламенем. (В свое время он уезжал с очень тяжелым сердцем из боязни, что ее выдадут без него замуж). Он несколько раз заявлял о том, что из-за нее он согласен отказаться от всего. Он доверился дяде Михаилу,



и тот, вместо того, чтобы призвать его к благоразумию, указал ему на свой собственный брак, жертвой которого он был, ввиду того, что женился не по любви. Папа был очень недоволен слабостью Саши. Еще в марте он говорил о том, что согласен жениться на Принцессе Дармштадтской, а теперь после четырех месяцев уже хотел порвать с нею. Это были тяжелые дни. Было решено, что Ольга должна покинуть Двор. Польские родственники приняли ее и мы увидели ее только позднее, уже замужем за графом Огинским. Была ли она достойна такой большой любви? Мне трудно ответить на это. В нашем кругу молодежи она никогда не играла роли и ничем не выделялась. У нее были большие темные глаза, но без особого выражения, в ней была несомненная прелесть, но кошачьего характера, свойственная полькам, которая особенно действует на мужчин. Но в общем она не была ни умна, ни сентиментальна, ни остроумна и не имела никаких интересов. Поведение ее было безукоризненно и ее отношение со всеми прекрасно; но дружна она не была ни с кем. Впрочем, как сирота без семейных советов, предоставленная в жизни в обществе, считавшемся поверхностным и фривольным, она должна была встречать сочувствие. И Папа, всегда добрый, относившийся по отечески тепло к молодым людям, сожалел ее ото всей души. Но однако он и минуты не колебался поступить так, как считал правильным. Он поговорил с нею, и сказал ей в простых словах, что не только два сердца, но будущность целого государства поставлены на карту. Чтобы укрепить ее решение и подбодрить ее, он говорил о достоинстве отказа и жертвенности, и слова его должны были так подействовать на нее, что она поняла и благодарила Его в слезах.

Саша же, который в то время был в Могилеве, тяжело захворал и Мама, здоровье которой пошатнулось из-за этой истории, тоже заболела. Мой отец должен был как раз в то время предпринять поездку, и ездил инспектировать из города в город. Я посылала Ему письма, написанные под диктовку Мама и сопровождаемые постскриптумами докторов. Последние боялись воспаления легких и советовали Отцу вернуться. Очень

испуганный Он сейчас же решил возвращаться, и путешествуя день и ночь, прибыл домой, где нашел Мама вне опасности. Но вечером в день Его приезда слегла я.

И мои силы не выдержали стольких тревог и волнений. Я заболела нервной горячкой и провела 47 дней в постели. При первой попытке встать, я должна была снова начать учиться ходить, опираясь на Адини и Анну Алексеевну. Какой восторг, какое сладкое сознание счастья поправиться в семнадцать лет! Снова ощущать себя подаренной жизни и сознавать как ты любима! Да, главное, это сознание быть любимой! Мне всегда казалось, что я была менее любимой Родителями, чем мои братья и сестры. И вот я могла ощутить, что и по отношению меня они питали такие же чувства. Адини часами сидела на краю моей постели и рассказывала мне обо всем, что произошло за время моей болезни. Служились молебны о моем выздоровлении в комнатах Мама, на которых Папа присутствовал всегда в слезах, не чая видеть меня больше здоровой. Однажды читалось Евангелие о воскрешении дочери Иаира. Папа упрекал себя в неверии в Провидение и что невозможно людям, услышал Господь! С того дня я стала поправляться. В своей радости, что мне стало лучше, Папа непременно хотел подарить мне какую нибудь драгоценность. Но врачи запретили ему: никакое волнение, ни радостное, ни печальное, не должно было коснуться меня, чтобы не расстраивать нервы. Он должен был спрятать футляр в карман, покуда не был снят запрет. Как я была счастлива получить этот подарок. Это была «Sevigné», украшение в виде банта с, грушевидной формы, жемчужной подвеской. Я храню ее еще до сих пор и она считается фамильной драгоценностью.

Для Мама осень и зима этого года были печальными. Она страдала легкими, и ей было запрещено не только выезжать, но много принимать у себя. Каждое утро меня переносили к ней. Анна Алексеевна читала нам по-русски. По вечерам ко мне приходили молодые фрейлины, главным образом, Вера Столыпина. Мы поверяли друг другу наши желания и мысли, мы говорили о наших ошибках и недостатках и мечтали устра-

нить их в энергичной работе. Но какую же работу может выполнять девушка дома! Таким образом у нас пробудилась мысль о доме вдвоем. Для Веры был выбор свободен, для меня очень ограничен, особенно если герой моей мечты окажется не одного со мной круга. Такие мысли вызывали во мне грусть и начинало давить сознание, что я родилась Великой Княжной. Но четверть часа спустя, мы уже хохотали над какой-нибудь мелочью или шуткой, как это свойственно молодым девушкам, и все кончалось тем, что мы благодарили Бога, что жизнь так прекрасна.

## 1840 ГОД.

Накануне Нового Года Папа появился у постели каждого из нас, семи детей, чтобы благословить нас. Прижавшись головкой к его плечу я сказала ему, как я благодарна ему за всю ту заботу и любовь, которые он проявлял ко мне во время моей болезни. «Не благодари меня», живо ответил он, «то, что проявил я, только естественно ; когда у тебя самой будут дети, ты поймешь меня».

Масленица этого года прошла для нас незаметной. Я вспоминаю только один бал у тети Елены. На мне была сетка из бархатных лент, чтобы скрыть мою бритую голову. Папа был очень огорчен тем, что пришлось обрезать мои длинные косы, которыми он так гордился.

Я упустила упомянуть, что мы снова жили в Зимнем Дворце. В Страстную Субботу 1838-го года там была освящена церковь. В день свадьбы Мэри мы провели в Зимнем дворце одну ночь и переехали туда окончательно в ноябре. В двенадцать месяцев дворец был сно-

ва восстановлен, благодаря усердию архитектора Клейнмихеля. Перед нашим переездом его топили день и ночь, чтобы изгнать из него сырость. В нем устроили новое стопление, подобие центрального, которое совершенно высушило воздух. Чтобы устранить этот недостаток, к нам в комнаты внесли лоханки со снегом и водой, и я думаю, что это произвело очень неблагоприятное действие на наши легкие. Только спустя тридцать лет, благодаря успеху гигиены, было устроено новое более полезное отопление с вентиляцией.

Помещения для нас, детей, были в нижнем этаже, под апартаментами родителей. Они были расположены на юг, с чудесным видом на Неву, крепость и Биржу. Своды с колоннами придавали этим громадным комнатам что-то такое, в чем мы себя чувствовали очень уютно. Наши спальни были низкими, моя рабочая комната, с четырьмя окнами, очень большой и не слишком теплой; я предпочитала ей библиотеку, где стояли мои шкафы и мой рояль. Мой рабочий стол стоял между двумя колоннами, очень укромно и приятно. Для этого помещения я получила от Папа прекрасные картины, частью те, которые принадлежали еще Бабушке, частью же копии из Эрмитажа.

И здоровье Саши было окончательно восстановлено. Он раскаивался в своем заблуждении и уехал весной в Германию. 4-го марта в Дармштадте была объявлена его помолвка. Бярятинский привез его письма и рассказывал о торжестве, на котором он присутствовал. Он прибыл утром и в своей радости Папа сейчас же повел его к постели Мама, чтобы он рассказал ей о счастливом событии. Мы прибежали со всех сторон и обнимались и целовались как на Пасху.

Мари завоевала сердца всех тех русских, которые приблизились к ней. В ней соединилось врожденное достоинство с необыкновенной естественностью. Каждому она умела сказать свое, без единого лишнего слова, с тем естественным тактом, которым отличаются прекрасные души: Саша с каждым днем привязывался к ней все больше, чувствуя, что его выбор пал на Богом желанную. Их взаимное доверие росло по мере того, как они узнавали друг друга. Папа всегда начинал свои

письма к ней словами: «Благословенно Твое Имя, Мария».

29-го марта родился первый ребенок Мэри, маленькая Адина, прелестная девочка с каштановыми волосами и большими темными глазами, совершенный портрет своего Отца. — Первый ребенок! Какая несказанная радость! Мэри была идеальной матерью, нежная, исполненная заботы и очень ловкая. Она сумела и потом завоевать послушание к себе детей; они любили ее и уважали, и ее авторитет все увеличивался с годами. Ее дети были для нее также оплотом и защитой против всех жизненных разочарований, вытекавших из непостоянства ее натуры. Как я любила потом прелестную картину, когда она в детской, окруженная всей своей румянощекой детворой, с новорожденным в руках, сидела с ними на полу.

В это время тетя Елена направляла всю свою энергию на то, чтобы поженить меня со своим братом, принцем Фридрихом Вюртембергским. Тот, в свою очередь, старался избежать брака со старшей дочерью Короля Вильгельма Вюртембергского, которая считалась политически развитой, что было в его глазах большим пороком. Тетя Елена подумала обо мне и уверяла, что ее брат заинтересовался мною уже после своего первого визита в Россию в 1837 году. Она расхваливала на все лады, подчеркивала какие блестящие перспективы открывались перед ним ввиду того, что кронпринц Карл слишком болезнен и слаб, чтобы управлять государством. Так она судила о моем дорогом Карле! Кто мог думать тогда о том, что в один прекрасный день, я стану его счастливой женой! Папа ответил ей, что я свободна выбрать кого хочу, и что он никогда не будет влиять на меня и что об этом плане он тоже ничего не скажет мне, ввиду того, что знает, как я отношусь к мысли о замужестве из-за моей юности. Фриц, который в то время долго гостил у тети Елены, приходил к нам по вечерам в качестве родственника, без того, чтобы о нем докладывали заранее. Его посещения учащались, я чувствовала его намерения и однажды рассказала все об этом Мама, в ужасе и задыхаясь от негодования. Он был вдвое старше меня, он в свое вре-

мя танцевал с Мама, он — сверстник моих родителей, к нему я относилась как к дяде: да ведь я же была связана своим обещанием! На следующий день было воскресенье. Когда Фриц пришел в церковь во время обедни, как раз читали из Апостола о диаконе Св. Стефане. Конечно, я усмотрела в этом указание свыше и Фрицу было окончательно в любезной форме отказано.

Я совсем не спешила выходить замуж; мне было так хорошо и я была так счастлива дома. Папа только смеялся, когда я говорила ему об этом. «Я сдержу свое слово», говорил он, — «ты свободна и можешь выбрать кого хочешь». — «Папа, решите вы за меня, мне кажется я не смогу решиться покинуть вас». Он обнял меня и сказал серьезно и ласково: «За кого ты выйдешь замуж, не зависит ни от меня, ни от тебя. Только один Господь решит это». Эти слова снова подействовали на меня как бальзам.

В июне из-за здоровья Мама предполагалось поехать в Эмс, но из Берлина написали тревожное письмо и мы ускорили поездку. Генерал фон Раух нашел дедушку очень ослабевшим. Он несколько раз выразил желание видеть своих семерых детей у себя. Мы немедленно выехали. Уже в Сувалках нас ожидали тревожные вести. Сообщали из Берлина, что последние дни он не покидал постели. Какими ужасными были последующие дни. Мама и ее сестры сменялись у постели больного. Вся остальная семья собиралась в салоне, так называемой Комнате попугаев, я почти всегда в обществе Саши и Марихен, младшей дочери тети Марьянны. Дяди, их жены и другие бесчисленные родственники стояли группами, в зависимости от руководивших ими ревности или симпатии. Бывали сцены, граничившие с карикатурой. Тетя Элиза (кронпринцесса) держалась в стороне и очень тихо. Но как только она делала движение по направлению комнаты больного, все невестки тотчас же следовали за ней. Принц Карл старался их удерживать, тогда Мэри делала ему сцену. Однажды Августа (впоследствии императрица) с возмущением обратилась к старому принцу Августу и пожаловалась ему на такое поведение. Тот попробовал снова восстановить мир между ними. Насколько заду-

шевно было отношение семи детей и бабушки между собой, настолько плохо ладили между собой четыре невестки. Возможно, что виной этому была громадная разница их темпераментов. Мои родители очень ценили тетю Элизу и последующие события показали, что они не ошибались. В семье не любили ее холодного вида и ее спокойную, немного сухую, манеру обращаться с людьми. Она же чувствовала, что ее осуждают и держалась в стороне от других, предпочитая им общество своих сестер и мужа, который ее обожал. Я была совершенно очарована ею и не находила ее ни в какой мере холодной. Мне она казалась самой естественностью, чуждой всяких поз и фраз. Она была бабаркой, католичкой и выросла в скромной домашней атмосфере, ввиду того, что ее отец, король Максимилиан I-й вступил на престол только благодаря неожиданной смерти своего брата. Она привыкла к южнонемецкому уюту и попав в суровую и холодную атмосферу Прусского двора, долго тосковала по родине. Но ее супружеская жизнь была идеальной. Она была не только поверенной, но даже советницей своего мужа. Последние годы его жизни, во время его болезни, она была настоящей сестрой милосердия. Только вдовой — последняя королева Пруссии — она смогла завоевать и укрепить за собой симпатию нового Императора и подружиться с императрицей Августой. Таким образом, обе эти женщины, наконец, оценили и полюбили друг друга.

В одно прекрасное утро бабушка почувствовал себя лучше и захотел увидеть своих внуков. Он поздравил Сашу с помолвкой и сказал ему: «И моя мать была из Дармштадта». Мне он сделал жест снять чепчик и приказал «Налево кругом», чтобы он мог видеть меня и сзади. «Выглядишь, как новобранец», сказал он, увидя мою бритую голову.

26-го мая, в день Св. Троицы, семья присутствовала на богослужении в Малом Дворце. Старый король причащался и благословил своих детей. Проповедь была очень трогательной, молились о продлении жизни короля, но вскоре после того, как Папа прибыл из Варшавы, часы деда были сочтены. Приезд Папы был по-

следней радостью дедушки. Он узнал его, хоть и не мог больше говорить, взял его за руку, прижал ее к своему сердцу и посмотрел на Мама, точно хотел поблагодарить за то, что Папа так бережет его горячо любимую дочь.

Через несколько часов после этого, нас всех позвали. В то время как мы стояли на коленях вокруг умирающего, священник читал Отходную. Княгиня Лигниц (урожденная графиня Гаррах, морганатическая жена короля Фридриха Вильгельма Прусского III) стояла в изголовье и прижимала к вискам больного одеколон. Затем последовал вздох — молчание — наступил конец. Княгиня поцеловала его лоб, закрыла ему глаза и исчезла, чтобы предоставить место детям. Все рыдали, даже лейб-медик Гримм и старый камер-лакей Кинаст — это была кончина патриарха. Для меня же это была первая смерть, с которой я непосредственно встретила.

Кронпринц, ставший теперь королем, искал глазами княгиню Лигниц, которая держалась в глубине комнаты. Он тепло поблагодарил ее за всю любовь, которую она проявила к его отцу и заверил в почтении и благодарности всей семьи. В этот день вечером семья собралась в нижнем этаже в комнатах моих родителей, чтобы читать Евангелие.

Король начал с цитирования слов, которые он видел на стене в одной старой церкви Кенигсберга. Они были: «Мое время в беспокойстве, моя надежда на Господа». Эти слова остались девизом на всю его жизнь.

На следующий день, мы с Мама встали рано. Покойного короля уже перевезли в часовню, где он лежал в шинели и фуражке на походной постели. Камер-лакей и один из адъютантов дежурили при нем. Но кроме них никого не было. Таким образом Мама могла без лишних свидетелей попрощаться со своим любимым отцом. Когда она кончила молиться, она попросила созвать старых слуг. Среди них были и служившие с времен королевы Луизы. Каждому из них она протянула руку и поблагодарила в теплых, сердеч-



ных словах. Как они все плакали и обступили ее! Я чувствовала ту любовь, которую они питали к своей прежней принцессе Шарлотте. После этого Мама обошла все комнаты дворца, вплоть до комнат своей матери, которая оставалась закрытой с 1810 года, года ее смерти. Так Мама прощалась со своим Отчим домом.

Папа из-за состояния здоровья Мама не хотел, чтобы она принимала участие в похоронных церемониях и отослал ее в Сансуси. Там, в ту чудесную весну, она провела дни спокойствия и внутреннего отдыха.

Короля похоронили в парке Шарлоттенбурга, рядом с королевой Луизой. Планы для постройки мавзолея были уже спроектированы Шинкелем и Раухом. В следующее воскресенье служили во всех церквах поминальные обедни. Во Дворце проповедь говорил придворный духовник Штраус. Он привел с большим умением историческую справку о царствовании короля. Незнакомая с протестантскими обрядами, которые допускают такие исторические речи во время поминальных обеден, я напрасно ждала молитв, которые отвечают в такие минуты внутренним чувствам. Наконец, после нескольких минут молчания, так называемой «тихой молитвы», и после чудесного пения придворных певчих на мотив нашей Херувимской, обедня закончилась импровизированной молитвой духовника, исходившей действительно из сердца.

Через несколько дней после этого, все мы поехали в Веймарн к тете Марии. Папа любил эту свою старшую сестру, почти сыновней любовью. Мне она казалась воплощенным долгом. Замужем в течение 35-ти лет за смешным мужем, она никогда не знала слабости. Добрая, большая благотворительница, очень способная в делах финансового управления (что она унаследовала от своей матери, императрицы Марии Федоровны) она была, например, первой, которая ввела в Германии ссудные кассы. С шести часов утра она уже писала, стоя у своего бюро в кабинете, вела все переговоры от имени Великого Герцога и старалась еще сохранить традицию Веймарна, как немецкого литературного Олимпа. На свой собственный счет, она заказала в своем огромном салоне четыре фрески у Бернхарда Не-

хер, которые должны были воспевать Гете, Шиллера, Геллерта и Виланда. Она покровительствовала артистам, главным образом, музыкантам, как Вебер, Хуммель и Лист. Ее двор был сборным пунктом для всех маленьких дворов немецкого Севера. Я восхищалась своей теткой, несмотря на то, что ее добродетель действовала на меня удручающе.

В комнатах моего кузена Карла-Александра я увидела на одном столе портрет эрцгерцога Стефана. Это было впервые, что я увидела его изображение. Он был снят стоя, со скрещенными руками, и напоминал своей позой герцога Рейхштадтского. Его лицо показалось мне притягательным, чтобы не сказать, значительным. Мы думали тогда, что он придет в Эмс, чтобы сделать нам визит. Я ожидала его в нерушимой уверенности, что он назначен мне судьбою.

Во время нескончаемых разговоров моих родителей с тетей Марией, ее муж, дядя Кикерики (это было прозвищем Великого Герцога) должен был как чичероне показывать мне свою столицу. В доме Гете, куда он свел меня сначала, я нашла бюст Мама, увитый имморталями, посреди античных пластик. Ее красота вероятно показалась ему типичной для юности и грации, отчего он поставил этот бюст у себя. В библиотеке Кики должен был точно указать число фолиантов, их было тридцать тысяч. Потом он провел меня в собрание своих собственных коллекций, что видимо доставляло ему громадную радость. Это была невероятная смесь китайских мопсов с китайской мебелью, мейссенского фарфора и между ними, действительно ценные, старинные гравюры, которые без рам, были просто наклеены на стены. Кто не знал этого дядю, тот не поверит, что это был за оригинал. Сын великого герцога Карла-Августа и той великой герцогини Луизы, которая сумела внушить уважение такому человеку, как Наполеон, воспитанный на глазах у Гете, и его блестящего окружения, он от всего своего воспитания и атмосферы своего родительского дома не сохранил ничего кроме анекдотических воспоминаний. Обладая замечательной памятью, он рассказывал свои истории, анекдоты,

смешные подробности без конца, сопровождая все веселым подмигиванием и подталкиванием локтя. Тетя, которая все эти истории слышала сто раз, даже не обращала на них внимания, если она случайно бывала при этом; мы же, остальные, которые должны были их слушать, умирали со смеха.

5-го июня мы уехали во Франкфурт. Из Ханану Са-ша и я ехали в открытой коляске и под вечер мы при-были туда и остановились в Отель де Рюсси. Мы с вол-нением думали о встрече с Гессенской семьей. Мы сменили черные платья на траурные белые, по рус-скому обычаю. Я помню совершенно точно, как после первых официальных слов и поздравлений по случаю помолвки, Мари Дармштадтская обняла меня как сестра, которой она мне и осталась до смерти. По ее манере себя держать и по выражению ее лица, ей ни-когда нельзя было дать ее пятнадцати лет, настолько умным было ее выражение и настолько серьезным все ее существо. Только по яркому цвету щек, можно было догадаться о ее волнении. Папа не переставая смотрел на нее. «Ты не можешь понять значения, ко-торое ты имеешь в моих глазах, — сказал ей он. — В тебе я вижу не только Сашино будущее, но и будущее всей России; а в моем сердце это одно». Великий герцог отец, несомненно самый добрый человек на свете, но довольно незначительный, не сказал ни слова и пред-ставил нам своих трех сыновей. Младший Александр, на год моложе Мари и неразлучный с ней, был тонкий и хрупкий, с маленькими умными глазами. Папа при-шла мысль пригласить его служить в русскую армию, чтобы в будущем сестра и брат продолжали быть вме-сте. Это предложение было тотчас же принято. Мари нам доверили во время нашего пребывания в Эмсе. Мы спали в той же комнате. Еще сегодня я вижу ее перед собой в постели, с обнаженными прекрасными рука-ми, в ночной рубашке, оставлявшей открытыми шею и плечи, и распущенными пышными каштановыми воло-сами. «Спокойной ночи, спи спокойно!» говорили мы друг другу в который уже раз и снова начинали болтать, вместо того чтобы спать, столько ей нужно было меня спросить и столько мне ей рассказать. С первого дня

между нами воцарились симпатия и доверие. Для меня же она была особенным созданием как будущая жена моего любимого брата; теперь же ко всему этому присоединилось убеждение, что она превзошла все мои ожидания, настолько она была прелестна. Милая, дорогая Мари, твоя память всегда останется благословенной!

В Эмсе Мама пила воду, а я — ослиное молоко. Прогулок по курортному парку я избегала насколько возможно, так как везде за нами следовали любопытные взгляды. Мы совершали прогулки в горах на осликах, откуда мы спускались к реке Лаан и даже ездили по ней на пароходе. Мы всегда завтракали все вместе. Мама и тетя Луиза писали в своих альбомах, дядя Вильгельм читал газеты и, по большей части, рисовал. В обеденную пору, когда Мама брала ванну, Мари с Сашей приходили ко мне. Мы ели землянику и мой преподаватель немецкого языка Оертль читал нам «Вымысел и правда», описание Гете коронавания императоров во Франкфурте. Я много занималась музыкой, окрыленная Тальбергом (знаменитый пианист того времени), Кларой Виик (Шуман) и Францем Листом, которые играли у Мама. Благодаря слышанному и некоторому усердию, я сделала успехи. Русские дипломаты, аккредитованные при различных европейских Дворах, приезжали к Мама. — Среди иностранцев, приезжих, мне особенно запомнилась прекрасная герцогиня Бельгийоза, белая как мрамор, с горящими глазами, с манерами умирающей, окруженная поклонниками. Она нас интересовала, но нам не нравилась, в то время как маленькая, скромная пожилая дама в коричневом, со следами былой красоты, нас пленяла своей скромностью — то была Мадам Рекамье.

Недели, проведенные в Эмсе, были для меня сплошным восторгом. Мне казалось, что во мне что-то распускается, расцветает. Все я видела точно окутанным в светящийся флер, вся моя будущность казалась мне такой-же, точно меня ожидали одни радости. Вся эта восторженность была вызвана нивами земли Нассауской, берегами Рейна с его замками, развалинами и сказаниями, которые Мама умела так хорошо расска-

зывать. Крепость Эренбейтштейн восстанавливалась, от замка Штольценфельз остались только руины; король Фридрих Вильгельм IV-й мечтал их реставрировать в готическом стиле, как был восстановлен замок Рейнштейн.

У нас было и много придворных визитов. Между ними король Людовик I Баварский с королевой Терезой, которые, я это прекрасно чувствовала, особенно рассматривали меня. Во время одной прогулки, когда мы случайно очутились одни, король передал мне лист бумаги: «Прочтите это». Я прочла стихи «Роза и Лилия» по французски. «Это вы». Затем он быстро прибавил: «Я хотел бы вас иметь в мраморе и масляными красками», и все в таком роде. Я только смеялась. И все-таки в этом человеке было что-то, что отличало его от остальных людей общества и его круга. Он был вероятно деспотичен в семье и придирчив, но, по отношению посторонних, мог быть в высшей степени любезен, говоря на свойственном ему языке красок и поэзии.

Нас посетила также герцогиня Лейхтенбергская со своей дочерью Теодолиндой, пикантной и грациозной девушкой, в которой ясно была видна смесь немецкой и французской крови. Было известно, что она питала большую любовь к баварскому великолепному «Максу», но осталась эта любовь без взаимности. Ввиду того, что она прекрасно понимала это, она хотела быть великодушной и старалась уговорить меня выйти за него замуж и сделать его счастливым. Она описывала его таким, каким его изображала ее любовь: он был предан только хорошему и благородному, окружен замечательными людьми, как учеными, так и философами и поэтами, в то время как его отец покровительствовал художникам и ваятелям. Наконец она указала на сияние той короны, которую я буду разделять с ним, не зная конечно, что подобное «сияние» было мне совершенно ненужно, если я не могла последовать голосу своего сердца. Жить в его тени, под сенью моей любви — такой я представляла себе жизнь подле Стефана.

Наконец «великолепный» получил разрешение

приехать в Дармштадт, чтобы навестить свою сестру, Великую герцогиню Матильду в то время, как и мы будем там на обратном пути. Я должна была еще раз повидать его, поговорить с ним, прежде чем окончательно ему отказать. Меня повезли туда, как Ифигению к жертвеннику. Я слушала Макса, отвечала ему как автомат, и не чувствовала с его стороны ничего иного, как напряженность, усилие и полное отсутствие легкого, естественного поведения. Я думаю, он должен был действовать из соображений благоразумия, а не импульса, что придавало всему его сватовству характер неуверенности, мне же нужен был муж, который мог бы вести меня силою своего характера и любви. Этому требованию Макс не соответствовал. Вечером, когда я перед сном открыла Евангелие, мой взгляд упал на восьмую главу Послания к Римлянам. Это было как бы ответом на мой страх и беспокойство. Утешение и уверенность влились в меня, и вдруг я поняла, как должна была поступить.

Таким образом, я рассталась с Дармштадтом легко и свободной. Короткими этапами мы подъезжали к Дрездену, Мама, Мари и я в одной коляске. От Лейпцига мы ехали железной дорогой. В Дрездене нас с Мари, которая была в близком родстве с Саксонским королевским домом, встретили очень сердечно. Мари и я осматривали весь прекрасный город, Зеленые Своды, Оружейную, собрание коллекций и картинную галерею, первую, которую я осматривала и, которая, даже после моих поездок в Италию, осталась для меня самой любимой. Я купила себе копию Тициана: Христа с податью, картину, которая с тех пор никогда не покидала меня. В Дрездене я, между прочим, встретилась с княгиней Мелани Меттерних, урожд. графиней Цихи, третьей женой канцлера, которая в то время была в расцвете своей красоты. Классическая голова, овитая тяжелыми косами, глаза необычайно живые и говорящие, голос и тональность полные прелести, свойственной вѣнкам.

В конце августа мы уехали в Варшаву; 3-го сентября под проливным дождем прибыли с Мари в Цар-

ское Село (в народном толковании, это значит: богатая жизнь); 8-го сентября был въезд в Петербург в сияющий солнечный день. Мама, Мари, Адини и я ехали в золотой карете с восемью зеркальными стеклами, все в русских платьях, мы сестры в розовом с серебром. От Чесменской богадельни до Зимнего Дворца стояли войска, начиная с инвалидов и кончая, у Александровской колонны, кадетами. На ступеньках лестницы, ведущей с Большого Двора во Дворец, стояли по обеим сторонам Дворцовые Гренадеры. Мы вышли на балкон, чтобы народ мог видеть Невесту, затем были церковные службы в храме, молебен и, наконец, большой прием при Дворе. Все городские дамы и их мужья, как и купцы с женами, имели право быть представленными Невесте. Все залы были поэтому переполнены.

Для Мари были устроены апартаменты в Зимнем Дворце подле моих, красивые, уютные, хотя и расположенные на Север. Осенью, которую мы проводили в Царском Селе, Мари учила Закон Божий и русский у Анны Алексеевны, которая сумела не только передать своей ученице прекрасное произношение, но вместе с любовью к языку внушить ей и любовь к народу, которому она теперь принадлежала. Потом говорили, что после императрицы Елизаветы, ни одна немецкая принцесса не владела так хорошо нашим языком и не знала так нашу литературу, как это знала Мари. Мама много читала по русски, главным образом, стихотворения, но говорить ей было гораздо труднее. В семье мы, четверо старших, говорили между собой, а также с родителями, всегда по-французски. Младшие же три брата, напротив, говорили только по-русски. Это соответствовало тому национальному движению в царствование Папа, которое постепенно вытесняло все иностранное, до сих пор господствовавшее в России.

5-го декабря в церкви Зимнего Дворца была пышно отпразднована церемония перехода Мари в лоно православия. С необычайной серьезностью, как все, что она делала, она готовилась к этому дню. Она не только приняла внешнюю форму веры, но старалась вникнуть в правоту этой веры и постигнуть смысл слов, которые

она читала всенародно перед дверьми Церкви, в лоно которой должна была вступить. — Первые слова «Верую» она произнесла робко и тихо, но по мере того, как она дальше произносила слова молитвы, ее голос креп и рос с убеждением. Во время Таинства подле нея стояла ее восприемницей мать Мария, игуменья Бородинской обители, высокая, аскетическая, вся в черном, подле которой особенно трогательной казалась Мари, вся в белом, в локонах вокруг головы, украшенная только крестильным крестом на розовой ленте, который надел на нее Митрополит, после того, как лоб девушки был помазан миром. После Причастия лицо Мари светилось радостью. Во время молебна ее имя было впервые помянуто, как имя православной. На следующий день была отпразднована помолвка и в соответствующем Манифесте она названа Великой Княжной Марией Александровной. Поздравления и пожелания, приносимые духовенством, советом, сенатом, всем Двором, городскими дамами с мужьями и, наконец, корпусом офицеров жениху с невестой, длились часами. Важен был прием Дипломатического Корпуса, который был назначен на следующий день, так как от донесений и впечатлений представителей всех стран своим Дворами зависела репутация юной Великой Княжны.

Ум, спокойная уверенность и скромность в том возвышении, которое выпало на ее долю, вызвали всеобщее поклонение. Папа с радостью следил за силой этого молодого характера и восхищался его способностью владеть собой. В этом он видел равновесие к недостатку энергии в Саше, который его постоянно заботил. В самом деле, Мари оправдала все надежды, которые возлагал на нее Папа, главным образом потому, что никогда не уклонялась ни от каких трудностей и свои личные интересы ставила после интересов страны. Ее любовь к Саше носила отпечаток материнской любви, боязливой и покровительственной, в то время как Саша как ребенок относился к ней по детски-доверчиво. Он каялся перед нею в своих маленьких шалостях, в своих увлечениях — и она принимала все с пониманием, без того, чтобы огорчаться этим. Союз, соединявший их, был сильнее всякой чувственности. Их заботы о де-



тях, которых они будут иметь, и их воспитание, вопросы государства, реформы, которые были ему необходимы, и политика по отношению других стран — поглощали их интересы. Они вместе читали все письма, которые приходили из России и из заграницы. Ее влияние на него носило тот счастливый отпечаток, который в силах, безо всякого усилия и шума, дать успокоение, уверенность и быть всегда к услугам, когда это нужно. Саша отвечал всеми лучшими качествами своей натуры, всей привязанностью, на какую только был способен. Как возросла его популярность благодаря Мари! Сии обладали двумя качествами, которые редко встречаются у правителей: быть безличными и человечными. Как обожали Сашу в кадетских корпусах и в гвардии, которой он командовал после дяди Михаила! У него была замечательная память на фамилии и лица, которые он когда-либо встречал, и он мог много лет спустя, встретясь с кем-нибудь, назвать его по фамилии или отнести к нему как к товарищу, что доставляло иногда больше радости, чем всякая награда.

Мари сопровождала его во время маневров в лагери, на смотры и приемы и храбро говорила по-русски с генералами и офицерами частей со своей простой манерой. Потом, когда Саше внушили недоверие к такому влиянию и представили его ему как слабость с его стороны, которую он терпит, Мари отступила на задний план совершенно добровольно. К тому же ее здоровье заставляло желать лучшего. Смерть ее старшего сына, Наследника, которому она отдала всю свою заботливость, доконала ее совершенно. С 1865 года она перестала быть той, которой всегда была. Каждый мог понять, что она внутренне умерла и только внешняя оболочка жила механической жизнью. Ее взгляды, ее отношение к жизни, не соответствовавшие тому, с чем ей пришлось встретиться, сломили ее. У нее были свои идеи, свои нерушимые исповедания главным образом в вопросах религии и веры. Как все, перешедшие в православие, она придерживалась догматов, и это было точкой, в которой они расходились с Сашей; он, как Мама, любил все радостное и легкое в вопросах религии. Если все, что делается, делается из соображений

долга, а не из чувства радости, какой грустной и серой становится жизнь!

**Мама** — она еще была молодой в шестьдесят лет. Она всегда понимала молодежь и без труда осталась центром семьи, даже тогда, когда по болезни она уже не могла дать ничего иного, как только свое присутствие среди нас. Мари нехватало мягкости и располагающего к себе отношения сердечной веселости. Было только немного людей, которые сумели к ней приблизиться. Может быть, я была единственной, которая ее действительно знала и понимала. Для меня она была одной из тех евангельских жен, которые направляются ко Гробу Господню. Она искала примеры только среди тех, которые стремились к трудной цели и ставили себе высшие задачи. Она любила читать историю наших Святых, житие св. Моники и письма св. Августина. Она всегда видела только серьезную сторону жизни, она предпочитала серьезные разговоры и любила окружать себя людьми, от которых могла научиться. В возрасте, когда другие себя считают еще молодыми, она избегала носить розовое и всякие светские увеселения с танцами, которые казались ей только ненужным грузом. Но на больших балах, когда ей нужно было появиться как Императрице, я поражалась ее гостеприимству. Она никогда не забывала обратиться ко всем с внимательным словом, особенно к таким, кто редко появлялся при Дворе и с каждым говорила об его личных делах, что совершенно подкупало и очаровывало собеседника. Вообще она считалась женщиной большого сердца и чувства, но ее улыбка была, по большей части, грустной.

Но я опять забежала вперед и придала портрету Мари черты страдания, которым отмечены последние годы ее жизни. Но в то время, она еще была во цвете своих шестнадцати лет, все подподали под ее юное обаяние и вся жизнь еще заманчиво лежала перед ней.

## 1841 ГОД

В конце декабря Мари и я заболели одновременно, Мари — рожистым воспалением лица, а я — сильным кашлем. Мы лежали каждая в своей комнате, без того, чтобы видеть друг друга. Чтобы не терять времени и сделать что-либо полезное, мы решили переводить с английского на русский язык и распространить в деревне, как дешевое издание, «Успехи паломничества». Мы были уже довольно далеко в своей работе, как нам сказали, что книга уже появилась на русском языке. Когда мне разрешили встать, я хотела было заняться своими красками, но врачи запретили мне это, ввиду того, что испарения скипидара плохо отражаются на легких. Мне оставался только рояль; я играла много и с большим наслаждением, главным образом, Мендельсона и песни Шуберта в арранжировке Листа. Родители часто приходили ко мне вечером и пили чай в моей библиотеке. Затем я играла для Папа военные марши, а для Мама — Шопена.

В конце февраля врачи Маркус и Раух, которые лечили меня также и во время моей тяжелой болезни, предложили мне переселиться в Аничков, ввиду того, что сухой воздух Зимнего Дворца мне вреден. Папа совершенно не был обрадован этим, но так как дело шло о моем здоровье, то он в конце концов согласился, и вся семья с восторгом переселилась в любимое маленькое гнездышко. По прошествии одной недели мой кашель исчез. — После этого призвали специалистов, чтобы исследовать свойства воздуха в Зимнем Дворце и выяснилось, что содержание влажности в нем слишком недостаточно, как для людей, так и для растений. Построили всюду каминь, но и в Аничковом приделали к печам сосуды с водой.

Мама, которая так прекрасно поправилась в Эмсе, в эту зиму начала жаловаться на сердце. Как другие люди заболевают мигренью, так она, при каждом малейшем волнении, стала хворать припадками сердца, которые часто длились целые сутки. В такие дни она не могла держаться прямо и надеть платье, облежавшее ее. Лейб-медик Мандт не обратил особенно серьезного

внимания на эти припадки и считал их основанными на нервности критического возраста. Он прописал только покой и нашел, что нужно избегать больших празднеств в придворном платье. Это была вторая зима, что я не выезжала в Свет. Вместо приемов и придворных балов, до обеда к Мама приезжали жены послов и другие дамы, и Мари и я присутствовали у нее при таких посещениях.

Перед Пасхой в апреле приехали дядя Мари, Принц Эмиль Гессенский и ее брат Наследный Принц Людвиг. Мари была так тронута и потрясена этим свиданием, что разрыдалась и долго не могла успокоиться. Слезы и душевное потрясение вызвали опять болезненную красноту ее лица, которая не проходила, а через несколько дней была назначена свадьба. Камерфрау Рорбек рекомендовала старое симпатическое средство: без ведома Мари, ей положили под кровать язык лисицы и она таким образом проспала несколько ночей. Совершенно невероятно, но это средство помогло, уже после первой ночи краснота прошла. С тех пор я еще часто рекомендовала это средство другим и оно всегда приносило желанные результаты.

Наступил великий день. Это было 28-го апреля, канун 23-го Дня Рождения Саши. Утром была обедня, в час дня официальный обряд одевания невесты к венцу в присутствии всей семьи, вновь назначенных придворных дам и трех фрейлин. Мари была причесана так, что два длинных локона спадали с обеих сторон лица, на голову ей надели малую корону-диадему из бриллиантов и жемчужных подвесок—под ней прикреплена вуаль из кружев, которая свисала ниже плеч. Каждая из нас, сестер, должна была подать булавку, чтобы прикрепить ее, затем на нее была наброшена и скреплена на плече золотой булавкой пурпурная, отороченная горностаем, мантия, такая тяжелая, что ее должны были держать пять камергеров. Под конец Мама еще прикрепила под вуалью маленький букетик из мирт и флер-д-оранжа. Мари выглядела большой и величественной в своем наряде и выражение торжественной серьезности на ее детском личике прекрасно гармонировало с красотой ее фигуры.

В три часа был торжественный банкет для первых трех придворных классов, примерно четыреста человек, в Николаевском зале Зимнего дворца за тремя громадными столами. Посреди Царская Семья и духовенство, которое открыло банкет молитвой и благословением. За столом по правую руку сидели дамы, по левую — кавалеры. Пили здоровье Молодых, Их Величеств, родителей Цесаревны, а также всех верноподанных и каждый тост сопровождался пушечными залпами. Высшие чины Двора подносили Их Величествам шампанское, нам, прочим членам Царской Семьи, прислуживали наши камергеры. На хорах играл военный оркестр и лучшие певицы Оперы, Хейнефеттер и Ла Паста пели так, что дрожали стены.

В восемь был полонез в Георгиевском Зале, который Папа танцевал впереди всех с Мари, в девять часов мы возвратились в свои покои, где только Семья ужинала вместе с Молодыми. Адини и я не принимая в этом участия, а ужинали вместе с нашими воспитательницами у меня и смотрели на Неву, на освещенные набережные, разукрашенные флагами суда, праздничную толпу, а за ней шпиль Петропавловской крепости, поднимающийся к небу, еще позолоченный заходящим солнцем. Жуковский, который увидел нас у окон снизу, поднялся к нам в приподнятом настроении восторга, которое передалось и нам. Так закончился прекрасным аккордом этот день.

За ним последовал еще целый ряд празднеств, между ними, празднование дня рождения Саши 29-го апреля и день Ангела Мама и Адини 3-го мая. Закончилось все народным празднеством в национальных костюмах, на которое были допущены тридцать тысяч человек. Зимний Дворец был освещен всю ночь напролет и толпа, которая толкалась в залах была невообразимой. В Белом зале для Мама было устроено спокойное место за баллюстрадой, где она могла сидя принимать приветствующих ее. Папа, с одной из нас, дочерей, под руку, проходил поскольку это было возможно, между толпой; празднество длилось бесконечные часы. Мы совершенно обессилили под конец. Мама и я,

которая унаследовала ее хрупкое здоровье, должны были еще долго потом поправляться.

На свадьбу прибыл также дядя Вильгельм со своим адъютантом, графом Кёнигсмарк, который был очень приятным собеседником, был необычайно скромен для пруссака и безо всякого предубеждения против России. С дядей Вильгельмом я очень подружилась во время нашего пребывания в Эмсе. Он только что вступил в масоны и говорил с увлечением об этом гуманном содружестве. Орлов, Бенкендорф и Киселев не разделяли его восторгов. Папа также часто говорил об этом. Я еще прекрасно помню его слова: «Если их цель действительно благо Родины и ее людей, то они могли бы свободно преследовать эту цель совершенно открыто. Я не люблю секретных союзов: они всегда начинают как будто бы невинно, преданные мечте идеальной цели, за которою скоро следует желание осуществления и деятельности и они, по большей части, оказываются политической организацией тайного порядка. Я предпочитаю таким тайным союзам те союзы, которые выражают свои мысли и желания открыто». — «И все-таки вы допускаете цензуру в прессе?» — «Да, из необходимости, против моего убеждения». — «Против вашего убеждения?» — «Вы знаете», возразил Папа, «по своему убеждению я республиканец. Монарх я только по призванию. Господь возложил на меня эту обязанность и покуда я ее выполняю, я должен за нее нести ответственность». — «Вам надо завести орган, предназначенный для того, чтобы опровергать ту клевету, которая несмотря на цензуру постоянно подымает голову». — «Я никогда в жизни не унижусь до того, что начну спорить с журналистами».

В то время, я соглашалась с Папа. Но с тех пор, как я живу в Германии, я на опыте узнала, что пресса представляет собой силу, с которой приходится считаться правительству, если оно хочет быть авторитетным.

По окончании торжеств, Папа с Сашей и принцами, присутствовавшими на свадьбе, отправились в Москву. Я, ослабевшая как комар, должна была пить ослиное молоко, в то время как Мама были приписаны молочные ванны. Эрцгерцог Стефан, которого также пригла-

сили на торжества, опять не приехал; Вена удовлетворилась тем, что прислала Рейшаха, который сопровождал Сашу по Австрии, а также молодого фон дер Габленц. Дядя Вильгельм Прусский видел Эрцгерцога во время маневров в Богемии. И у него составилось о нем самое лучшее впечатление и он рисовал его как человека умного, со здоровыми политическими взглядами, прекрасными манерами в обществе, словом, дающего повод к самым прекрасным надеждам.

Не нужно говорить о том, какое все это произвело на меня впечатление и только еще больше укрепило мое внутреннее чувство, хотя казалось бы, я должна была себе сказать, что до сих пор Вена еще не высказалась по поводу брака Стефана со мной.

В июне, накануне дня рождения Адина, к нам приехала тетя Мари Веймарнская. Она прибыла пароходом, в обществе своего мужа и старшего сына. Тринадцать лет прошло с тех пор, как она была в России и увидеть эту страну снова было ей очень приятно. Она жила в Петергофе, ее окружение было выбрано с большой тщательностью и Папа очень старался сделать ей это пребывание приятным. Каждый второй день, мы, сестры, шли к ней, чтобы узнать ее распоряжение на этот день; мы присутствовали на ее приемах и сопровождали ее даже во время поездок в город. От нее можно было многому научиться; она знала как обращаться с людьми. Ее вежливость по отношению к окружающим, включая самых простых людей, с которыми она встречалась, не знала пределов. Она никогда не забывала поблагодарить за малейшую услугу. Когда она выходила из экипажа, она поворачивалась, чтобы кивком головы поблагодарить кучера, и это не было отнюдь формальностью, а сердечной потребностью. Она всегда думала о тех, кто ей оказывал внимание, чтобы ответить им тем же. Насколько прекраснее и человечнее жить в рамках, которые диктуют побуждения сердца, чем совершенно не иметь их, и например сбросить на пол пальто, вместо того, чтобы дожидаться когда оно будет снято, уйти не попрощавшись или не заметить поклона!

К обеду тетя почти постоянно приезжала к нам, в

громадной шляпе, которые были в моде в 1814-15 г.г. По вечерам мы сидели в зеленом салоне до 10 час. вечера без света, в сиянии прекрасных светлых ночей Севра. Мы, молодые, с кузеном Веймарским и Александром Гессенским, братом Мари, сидели одни, за столом у окна, шутили и дразнили друг друга. Если тетя и не слышала наших голосов (она была глуховата), тем не менее, она не спускала с нас глаз. Она мечтала чтобы заполучить одну из нас, Адени или меня, в жены своему сыну и старалась отгадать, которая из нас подошла-бы ему лучше. Она обратилась с этим к Папа, его отказ ничуть не смутил ее. В один прекрасный день она пожелала видеть мои комнаты. Она критически осмотрела лестницу, множество балконов и дверей, которые все выходили в переднюю, и наконец сказала неожиданно: «Неужели у вас здесь нет ни одной комнаты, у которой нельзя было бы подслушивать?» Я напрасно старалась ее успокоить и только, после того, как Анна Алексеевна обошла все комнаты, чтобы установить, что мы одни, она начала торжественно: «Существуют предрассудки, которые необходимо побороть, предубеждения, граничащие с суеверием, над которыми можно только смеяться в культурных странах. В твоем возрасте надо научиться узнавать это. Я говорила с Николаем, но без успеха. Теперь я сама хочу поговорить с тобой и сказать, что прошу твоей руки для моего сына. Ты согласна?» — «Но, тетя, ведь это мой кузен!» — Это предрассудки». — «Но Папа сказал тебе то же самое». — «Это отсталые взгляды». — «Но наша церковь запрещает это, и я чувствую себя обязанной ей послушанием».

Разговор длился целый час. Я защищалась, сопротивляясь в корректной форме, в душе несколько обиженная, что она могла подумать, чтобы я слушалась Церковь, которая была также и ее Церковью. С Адени последовало на следующий день тоже самое, Тетя так близко приняла это к сердцу, что захворала и должна была слечь. Кузен же сделал вид, что ничего не знает, и оставался веселым и непринужденным, вероятно сознавая, что ему более к лицу роль товарища, чем вздыхающего поклонника.



В честь тети состоялись различные приемы и торжества. Мэри, которая вновь ожидала ребенка, не принимала в них участия. Она жила очень замкнуто в своем прекрасном имении Сергиевское в обществе своего мужа и своей дочурки. Амели Крюденер, ее соседка, разделяла с ней это одиночество. Обе они проводили свое время в критике того, что делалось при дворе, осуждая и роскошь торжеств и приемов, и потерю времени, связанную с этим, и главное, вечный сплин, который доминировал надо всем. Родители были обижены этим, страдая от того, что Мэри точно отвернулась от семьи, которая сделала все, что было в ее силах, чтобы она была счастливой с Максом. Что Макс не чувствовал себя таковым, они были невиновны. Существует ли что либо более унижительное, как быть только мужем своей жены? С каким восторгом приехал он в Россию! И тем не менее ему постоянно давали чувствовать, что он иностранец, и его обременяли второстепенными постами или неприятными обязанностями. Макс командовал бригадой в Петергофе, конногренадерами и уланами. Он должен был ежедневно принимать парад под окнами Папа. Устав был очень запутанным, а дядя Михаил очень придирчивым. Поэтому постоянно были недоразумения, даже грубости, офицеров сажали под арест, часто командиры не знали даже почему, так велика была запутанность и разница в толковании этого устава прусского образца! Сколько ненужных волнений, сколько прекрасных людей доходили до границы отчаяния! Можно себе представить, что испытывал Макс, выросший в Германии на свободе в своих Альпах, попав в страну, обычаи и нравы которой были совершенно непохожи на то, к чему привык он, люди которой думали и говорили по другому, чем он, а климат — своею суровостью вредил его здоровью. Папа, прекрасно понимавший тогда последствия, которые вызывала преувеличенная строгость дяди Михаила, старался часто умерить его. Последнее вызывало только ярость дяди, он начинал кричать, Папа в свою очередь выходил из себя, после чего дядя предлагал уйти в отставку, и только Саша мог, внутренне смеясь, снова восстановить мир. Но такие сцены обижали Папа, от-

того, что он любил своего брата и всегда старался беречь его.

В августе уехала Веймарнская тетья. Папа уехал на свои маневры, а мы переселились с обеими молодыми парами, Сашей и Максом, в Царское Село. 4-го октября у Мэри родилась вторая девочка, Маруся, прелестный ребенок с чудесными глазами и правильными чертами лица, которая всю жизнь осталась такой же прелестной какой была в колыбели. Она появилась на свет в той же комнате, в которой 45 лет до нее увидел свет Папа.

В конце октября, Двор переехал, как ежегодно, на маневры в Гатчину. Это были беспокойные недели, заполненные празднествами и торжествами. Мне было девятнадцать лет. Мое окружение волновалось: «Как девятнадцать лет и все еще не замужем!» Обсуждали и взвешивали все «за» и «против» и пришли к убеждению, что на этот раз необходимо чтобы брак был равным, посл того, как брак Мэри не удовлетворил тщеславия и гордости нации.

Из Мекленбурга пришло известие, что Кронпринц Баварский гостит там и просит известить нас, что горит желанием увидеть меня. На вопрос Мама, разрешить ли ему приехать, я не рискнула сказать «нет». Цоллер, адъютант Макса, был послан в Мюнхен с письмом, в котором Кронпринц приглашался в Петербург. В должный срок он возвратился с письмами Короля и Королевы обратно. В очень смущенном тоне в них говорилось о том, что Кронпринц уже остановил свой выбор на Принцессе, имя которой еще не было названо. Не было никого счастливее меня! Гора свалилась с плеч и я прыгала от восторга... С нашего посещения Берлина в 1838 году Макс Баварский не переставал быть кошмаром моей жизни. Наконец-то я могла вздохнуть свободно, и совершенно свободной обратиться к Стефану, чей портрет все еще витал передо мною. От Екатерины Тизенгаузен, которая навестила в Вене свою сестру Фикельмон, мы снова услышали о нем. Она видела его часто, говорила с ним и каждый раз он спрашивал про нас и выразил желание с нами познакомиться. В это время послом в Вену как-раз был назначен граф Ме-

дем. Его снабдили доверительной задачей, прозондировать почву, как этого хотели Саша и я. В это время неожиданно пришло письмо от Эрцгерцога Альбрехта, которое разошлось с посылкой Медема в Вену. В нем он просил моей руки. Я уже упомянула, что он был мне симпатичен, что я питала к нему уважение и дружеские чувства. Но несмотря на все это, я почему то испытывала физическую неприязнь к нему, ввиду чего о браке не могло быть и речи. Без замедления, уже потому, что велись переговоры относительно Стефана, ему был послан отказ.

Ответ из Вены заставил себя ждать очень долго. Только три месяца спустя пришло длинное, от руки написанное, письмо Меттерниха. Обрамленное всевозможными любезностями, оно заключало в себе примерно следующее: браки между партнерами разных религий представляют для Австрии серьезное затруднение. Легковоспламеняющиеся славянские народности в Венгрии и других провинциях государства невольно наводят на мысль, что Эрцгерцогиня русского происхождения и православного вероисповедания может стать опасной Государству и вызвать брожения и т. д., и т. д.

Сам же Стефан сказал Медему, что, зная чувства Альбрехта ко мне, считал, что поступает правильно, избегая встречи с нами в Германии. Теперь же ко всему прибавились и политические причины, мешающие ему действовать. Через несколько дней после этого разговора умерла его сестра-близнец, принцесса Гермина, которую он обожал. Траур заставил его совершенно замкнуться. Мои надежды были разбиты, и казалось бы, я должна была сказать себе, что все конечно. Однако, чем сложнее были препятствия, тем больше я цеплялась за свою мечту.

Стали подыскивать мне другую партию и остановились на Герцоге Нассауском. Это чуть не повело к разрыву с Михайловским Дворцом. Тетя Елена уже лелеяла мечту о том, чтобы сделать свою старшую дочь Марию Наследной Великой Герцогиней в Карлсруэ, младшую же водворить в Висбадене, как жену Адольфа Нассауского. Когда Папа узнал об этом, он сейчас же заявил, что его племянницы, такие же Великие

Княжны как мы и он их считает своими детьми, поэтому Адольф Нассауский волен выбрать между нами по своему усмотрению. Дядя Михаил сейчас же успокоился, стал добрым и любящим, каким он в самом деле и был в глубине души. Но тетя недолюбливала меня с тех пор как я отказала ее брату (Фрицу Вюртембергскому). Предположение, что я могу быть предпочтена ее дочери Лили, взволновало ее в высшей степени. Она поспешила написать своей сестре Полине, чтобы та помешала Адольфу под каким либо предлогом навестить нас. И в самом деле, из Нассау пришло известие, что он и его сестра лишены возможности принять приглашение оттого, что должны ехать лечиться.

Эта переписка и эта неизвестность трепали-таки мои нервы и по вечерам, когда я оставалась одна с Анной Алексеевной, я поплакивала. Но утром я уже могла смеяться над теми трудностями, какие встречаются, чтобы избавиться от меня. — Как я была счастлива дома! Как мы любили друг друга, Адини, Мари и я! Стец Бажанов сказал нам, что жизнь молодой девушки подобна поездке на лодке по чудным водам, но всегда с целью приплыть к берегу. Да, конечно, но ведь можно же было задержать эту поездку, ведь качаться на спокойных волнах было так сладко!

## 1842 ГОД.

Зима была мягкой и Мама чувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы навещать как обычно, женские школы и институты. Я всюду сопровождала ее; мы шли в классы, присутствовали при обеде детей, сидели за их столами, смотрели все помещения и гладили маленьких, которые бежали нам навстречу, чтобы сделать перед нами свой лучший реверанс. С нашего пятнадцатилетия мы, сестры, были членами Отечественных школ, которые были расположены в каждом квартале. Та, которая подчинялась мне, была на Литейном. Там учили читать, писать, Закону Божьему, но главным образом шить и вышивать. Моя школа изготовляла, благодаря своей начальнице, самые красивые работы и все наше приданое шилось там. Дамы общества почитали за честь быть в членах правления этой школы и много денег стекалось в нее, благодаря этому обстоятельству.

После долгого ожидания, этой зимой выяснилось, что Мари ждет ребенка. Благоразумная во всем, она и тут не предалась ничегонеделанию или капризам, свойственным женщинам в ее положении. Ежедневно она приходила к Мама во время завтрака, этого такого приветливого и любимого нами часа, в который прибегали туда между двумя уроками и маленькие братья, а также приходили Папа и Саша, чтобы поболтать с нами, между разговорами с министрами. Мари проводила все утро у Мама, или же спускалась ко мне, чтобы взять русский урок у Анны Алексеевны. У меня больше не было уроков, кроме нескольких часов русского и французского чтения у Плетнева и Курно. Я много писала маслом и копировала этой зимой картину для дяди Михаила: французского гренадера в меховой шапке, работы Ораса Верне.

Карнавал этой зимой был очень оживленным. Каждое воскресенье были танцы с играми в Малахитовом Зале, между ними «*déjeuners dansants*» или костюмированные балы в Михайловском Дворце у тети Еле-

ны. Мне никогда не нравились костюмированные вечера. Как утомительны и скучны приготовления к ним! Одно разучивание танцев, которые показываются на них и которые часто превосходят прирожденные талант и грацию!

В конце зимы, когда мы сидели в одно прекрасное утро спокойно у Мама, занятые чтением вслух и рукоделием, послышались вдруг шаги Папа, в неуточное время. Затянутый в мундир он вошел с серьезным лицом. «Благослови меня, жена», — сказал он Мама. — «Я стою перед самым значительным актом своего царствования. Сейчас я предложу в Государственном Совете план, представляющий собой первый шаг к освобождению крестьян». Это был указ для так называемых оброчных крестьян, по которому крепостные лично освобождались поскольку они служили у частных помещиков, но должны были продолжать служить этому помещику дальше. К такому освобождению приглашались помещики, провести же его в жизнь предоставлялось им самим.

Князь Михаил Воронцов (Кавказский Наместник) был первым и единственным, последовавшим этому призыву. Он пробовал было провести его в одном из своих имений в Петербургской губернии, но встретил столько препятствий со стороны местных учреждений, шедших вразрез с целью призыва, что почти сожалел о своем шаге. Когда Воронцов пожаловался на это Киселеву, он услышал в ответ: «Что вы хотите! Мы еще варвары». Таким образом указ остался невыполненным, что было для Папа горчайшим разочарованием. Когда в 1854 году началась Крымская война, он сказал Саше: «Я не доживу до осуществления моей мечты; твоим делом будет ее закончить».

В эти годы, когда пароходное сообщение из Кронштадта в Любек или Штеттин так облегчило путешествие, стало все больше и больше входить в моду часто ездить за-границу. «У русских все еще кочевая кровь в жилах», заметил Киселев. Париж стал землей обетованной для всех, кто искал развлечений. Летом-же это был Баден-Баден. Папа пробовал умерить этот путешественный пыл», наложив на паспорта пошлину; осво-

бождены от нее были только те, кто предпринимал путешествие по докторскому предписанию. Все богатые люди добывали себе паспорта и медицинские свидетельства с легкостью, бедным же не оставалось ничего другого, как принимать ванны в Старой Руссе под Новгородом. Папа надеялся, что открытые в то время ключи Пятигорска на Кавказе станут вскоре местом сбора элитного русского общества.

Для офицеров гвардии и других молодых людей, стало обычаем принимать участие в войне против кавказских народностей и добывать себе лавры, вплоть до Георгиевского креста. Все дамы, — к которым я причисляла и себя, — были от них в восторге и считали героями. Кавказские стихи Пушкина и Лермонтова были у меня в крови, а мои глаза восхищала красочная форма Нижегородских драгун с казачьими шароварами и газырями на груди. Волна добровольцев на эту войну была так велика, что выбор решал жребий. Почти все друзья Саши принимали в ней временами участие. Эта война стоила многих человеческих жертв, но вперед не подвигалась. Неизвестно было, которая из войн, французов в Алжире или наша на Кавказе, будет скорее закончена. С волнением слушала я рассказы генералов ф. Анрепа или Граббе, когда они говорили о своих приключениях в Кавказских горах или об обычаях тамошних народностей. Верность кунаков, которая спасла жизнь не одному храбрецу, была непоколебима; жизнь того, кто хоть раз побывал в доме горца и был его гостем, считалась священной.

Но вернусь к событиям того года. Начались приготовления к серебряной свадьбе наших родителей. Уже в июне прибыли дядя Вильгельм Прусский, кузен Генрих Нидерландский и наша горячлюбимая тетя Луиза со своим мужем. Они все жили в недавновыстроенных готических домах, которые были расположены между Летним Дворцом и Большим Дворцом и которые назывались Готическими. Приехали еще Герцоги Евгений и Адам Вюртембергские, друзья юности Папа, а также Эрцгерцог Карл-Фердинанд. Наконец, накануне 13-го июля орудия Кронштадта возвестили прибытие Коро-

ля Фридриха-Вильгельма IV, визит которого ожидался но не было уверенности в том что он состоится.

Официальные приемы, весь необходимый торжественный церемониал, брали массу времени, отчего мы совершенно не принадлежали больше себе. Папа, который любил семейные торжества без свидетелей, устроил так, что накануне торжества вся семья, без придворных, в самом тесном кругу собралась вместе. Тут он появился со своими подарками для Мама, со шляпой в каждой руке, третья на голове, футляр во рту, другой под пуговицами его мундира, за ним следовала камерфрау с платьями на руках, чудесными туалетами, подобных которым мы еще не видели. Для Мама ему самое прекрасное никогда не было достаточно хорошо, в то время как он сам не позволял дарить себе ничего кроме носовых платков и, время от времени, мы баловали его каким-нибудь оружием, которое он неизменно передавал в Арсенал. От нас, детей, он любил принимать собственноручно нарисованные картины, но никогда не предмет роскоши, ни кольцо, ни бумажник, ничего для своего письменного стола или например, более удобный рабочий стул. Случалось, что он засыпал у Мама на какие нибудь десять минут в ее удобных креслах, когда заходил к ней, между двумя утренними конференциями, в то время как она одевалась. Такой короткий отдых был достаточен для того, чтобы сделать его снова работоспособным и свежим. После смерти Адини все это сразу изменилось и его энергия ослабела.

Утром торжественного дня, Мама проснулась под звуки трубачей Кавалергардского полка, которые играли ей «Лендлер» Кунцендорфа, вещь которую она часто слышала еще девочкой в Силезии. Затем был семейный завтрак, к которому каждый принес свое подношение: братья и сестры из Пруссии — серебряную люстру в 25 свечей и глиняные молочники из Бунцлау в Силезии. Мы, семеро детей, поднесли Мама накануне браслет с семью сердечками из драгоценных камней, которые составляли слово «respect». От Папа она получила ожерелье из 25 отборных бриллиантов. Каждой из нас, сестер, он подарил по браслету из синей



эмали со словом «bonheur» в цветных камнях, которые отделялись друг от друга жемчужинами. «Такова жизнь», сказал он, «радость вперемешку со слезами. Эти браслеты вы должны носить на всех семейных торжествах». — Свой браслет я с любовью берегу до сегодняшнего дня и передам его своим наследникам как реликвию.

Папа, растроганный и благодарный за все счастливые годы совместной жизни с Мама, благословил нас перед образами Святых. «Дай вам Бог в один прекрасный день пережить то же, что и я, и старайтесь походить на вашу Мать!»

Затем последовал торжественный выход в церковь Большого Дворца; Мама в вышитом серебром платье, украшенная белыми и розовыми розами, мы все с гвоздиками. После службы, на балконе, был прием поздравителей. Погода сияла. Было отраднo видеть, сколько поздравлений и приветствий было принесено нашим родителям.

Присутствие Короля Пруссии еще больше подчеркивало торжественность церемоний, но отнюдь не означало ничего приятного. Папа особенно старался угодить ему и оба, друг перед другом, соперничали в любезностях. Король, совершенно не имевший благородной осанки своего отца, из за сильной близорукости, неохотно садился на лошадь, быстро уставал от торжеств и парадов и предпочитал им иные интересы. Он так и не нашел точек соприкосновения с Папа. В политических вопросах, несмотря на взаимное уважение друг к другу, у них были очень разные взгляды. К тому же многочисленная прусская свита вела себя так высокомерно, что не заслужила ни симпатий, ни уважения. Мама и генерал фон Раух (пруссский военный аташэ в Петербурге) должны были постоянно сглаживать всякие недоразумения. К счастью, совместное пребывание было недолгим и мы, без сожаления, расстались с прусскими гостями.

Совершенно иными были отношения с дядей Вильгельмом, который после смерти своего отца носил титул Принца-Прусского, что приравнивало его к титулу Кронпринца. Он очень походил на Мама. Как и она,

относился он к людям благожелательно, что облегчало отношения и заставляло каждого чувствовать себя с ним свободно. Духовно он очень уступал Королю и не был ни в какой степени значительным, но был хорошо образован и его политические взгляды походили на взгляды Папа, он терпеть не мог ничего неискреннего. Солдат до мозга костей, он страстно любил поездки в Красное Село, маневры, учения. Во время военных игр он был прекрасным судьей и его советы в военных вопросах очень ценились.

В 1817 году он сопровождал свою сестру, как Невесту, в Петербург; в то время ему было 20-ть лет и с тех пор все его симпатии принадлежали России. Он часто приезжал в гости и пользовался расположением как дам, так и кавалеров. С дамами у него были галантно-дружеские отношения и он сохранял им трогательную верность; когда он в 1874 году, уже императором, приехал в Петербург, то навестил всех своих, оставшихся в живых, приятельниц. Он сохранил простоту, которая с юношеских лет делала его таким обаятельным. Как грустно, что этот ясный портрет омрачен тенями 1866 года!

В политике, как и в картах, он походил на Папа. Они оба сейчас же играли с козырей и их девизом было: «Козыри вперед!» Оба они не любили тонкостей игры, видя в них что-то неблагородное. Нессельроде, канцлер и министр иностранных дел во время царствования Папа, был тем, кто как никто другой умел облечь в вежливую придворную форму то, что было резким в его выражениях или поступках. Он был одним из последних представителей блестящей эпохи, давшей таких способных людей как Штейн, Таллейран, Меттерних, которые в 1815 году могли создать растерзанным народам Европы новую базу существования. При Нессельроде было много блестящих дипломатов, почти все немецкого происхождения, как например, Мейендорф, Пален, Матусевич, Будберг, Брунов. Единственных русских среди них, Татищева и Севрина, он недолюбливал, как и Горчакова.

Что же касается Папа, то его сильное национальное чувство не знало разницы ни в именах, ни в народ-

ности. Он считался с способностями и характером, требовал уважения и допускал вольномыслие. Я уже упоминала в другом месте, что тем, кто был на его службе, он всецело доверял, даже если знал, что это не совсем основательно; он любил говорить, что выраженное внимание и уважение к людям, готовым впасть в соблазн, как протянутая рука, удерживает их от падения в пропасть. Но какое-то инстинктивное чувство всегда предупреждало его, если в самом деле была опасность. Он всегда говорил непринужденно, полный веры в поставленную цель. Ему не надо было ничего скрывать и он всегда следовал тому пути, который ему казался предначертанным. Немногие понимали его в его простоте и многие этим злоупотребляли. Но история оправдывает его.

Эти размышления, конечно, не того времени. Мы жили изо дня в день, в развлечениях, и заботы о политике и управлении были вне нашей сферы. В 1842 году мне исполнилось двадцать лет. Во мне происходила большая перемена. В то время как за мной укрепилась репутация холодной натуры, мое сердце тосковало по любви, своему дому, детям. Когда я видела перед собой молодые семьи, главным образом Сашу, в его счастливом браке, построенном на взаимной любви и уважении друг к другу, я говорила себе, что для меня все кончено и я никогда не выйду замуж. Мари и Саша постоянно говорили мне как они счастливы иметь меня при себе и, несмотря на это, я постоянно впадала в отчаяние. Пустая жизнь, новые развлечения и внешнее веселье, давно уже не удовлетворяли меня больше. Чтение, музыка, рисование были, в конце-концов, тоже только времяпровождением. Я же чувствовала в себе совсем иную силу. Вскоре Господь услышал меня...

Но прежде чем закончить 1842-й год, я должна еще упомянуть о новом военном законе, который зародился в это время и о котором много говорилось. Дело было в том, что Папа непременно хотел облегчить участь солдат и дать крестьянам крепкие руки и свободный труд. Для этого он проектировал 25 лет службы, как их учредил Петр Великий, сбавить на 15. Ему отвечали, что свободному солдату не место подле крестьянина,

ввиду того, что все земледелие зиждется на системе барщины, которой солдат никогда не подчинится. Папа сказал Саше: «Я могу умереть со дня на день; я не хочу тебя обременять делом, которое так затруднительно и неразрешено и которое, к тому же, тебе не по душе». Много обсуждали этот вопрос, пока наконец не пришли к заключению, что нужно образовать нечто вроде прусского ландвера. Ввиду наших аграрных условий, это было преждевременным решением, которое было поводом к образованию пролетариата, до тех пор неизвестного в России. Никто не хотел брать ночным сторожем или на какое нибудь ответственное место людей, которые каждый момент могли быть призваны. Громадные расстояния в нашей стране, потеря времени, которая была вызвана необходимыми формальностями, и многое другое сделали почти невозможным для этих отпущенных свободных людей, найти себе службу.

## 1843 ГОД

Адини теперь было семнадцать лет, счастливый возраст, в котором можно было, как она говорила, пропускать без угрызения совести уроки, ложиться спать вместе с взрослыми и не нужно было покидать балы до ужина. Во время этих ужинов нас обеих всегда хотели разделить разными людьми постарше; но мы делали все возможное, чтобы нас посадили вместе, и достигали этого, обещая, что не будем пренебрегать нашими соседями справа и слева. Сколькими впечатлениями мы должны были обменяться на этих балах, которые мне, благодаря Адини, вновь доставляли удо-

вольствие. Для меня одной прелесть новизны, после трех лет, которые я посещала такие балы, давно улетучилась.

На одном из костюмированных балов этой зимы Адина, я и еще несколько барышень появились в средневековых костюмах из голубого шелка, отделанного горностаем, на голове лента, усеянная камнями, наподобие короны Св. Людовика. Когда нас спросили, что это за костюмы, мы ответили: «Вы ведь знаете, это костюмы девушек из Дюнкерка!»—«О, да, конечно! Известная легенда!» Никто не посмел сознаться, что он ничего не знал об этой легенде, существовавшей в тот момент только в нашем воображении. Папа очень смеялся над этим плутовством. Должна еще сознаться в одном «нарушении этикета». Обычно Великим Княжнам, как только они становились совершеннолетними, дипломаты представлялись не на приемах, а у них на аудиенции, на которые те были обязаны являться. Так было и со мной, начиная с моего двадцатилетия. Эти аудиенции происходили в присутствии моего камергера Баранова, гофмаршала графа Бобринского и придворных дам Окуловой и Бородиной. У дверей обычно стояли два дежурных паж. При моем появлении церемониймейстер уже стоял наготове со своим жезлом в руках и докладывал имя дипломата. Если это был посол, о нем докладывал граф Воронцов. Эта торжественная сцена каждый раз вызывала у меня смех, с которым я должна была бороться. Баранов каждый раз спрашивал меня сначала, что я намереваюсь сказать. (Это делалось для того, чтобы дать возможность тому, кого я принимала, подготовиться к разговору). В один прекрасный день ожидался американский посол Мистер Тольт. Наклон, после него три шага по направлению меня, несколько обычных фраз, потом молчание. Вдруг я спрашиваю: «Скажите, это правда, что водопад Ниагара обрушился?», и кусаю себе губы. Он сейчас же понял, что это шалость и ответил: «Это весьма возможно, я сейчас же наведу справки». Все смеялись, даже Бобринский, только Жюли Баранова была вне себя, считая, что я скомпрометировала себя. Я же таким образом завоевала себе симпатии Мистера Тольта;

когда мы встречались, то тотчас же улыбались друг другу и если это только бывало возможным на балах и приемах, он подходил ко мне и сейчас же вступал в разговор.

Адини и я очень старались быть вежливыми со старыми дамами, особенно с кавказскими княгинями, которые не говорили ни на каком другом языке, как на своем собственном и по русски едва могли сказать слово. Адини всегда смешила их. Наше внимание к тем, кто, по каким то причинам, мог считать себя обиженным, принесло нам благодарность многих и было, вероятно, основанием к тому, что нас любили. Много трогательных подарков, которые мы получили, доказывают это.

Весной этого года, в Петербург переехала для воспитания своих сыновей лучшая подруга Анны Алексеевны. Это была госпожа Шульц, урожденная Шипова. Я очень полюбила ее, оттого что она долго жила в деревне и прекрасно знала русских крестьян и условия их жизни. Она заботилась, главным образом, о судьбе деревенских священников, которые часто были очень бедны и к тому же еще неудачно женаты. Они были обязаны жениться на девушках своей среды, которые были такими же бедными и, безо всякого образования, — не помощницы своему мужу. Если-же они посещали какое-нибудь учебное заведение, то становились такими требовательными, что отходили от своей среды. Потребность в школе только для дочерей священников, стала необходимостью. Я попросила госпожу Шульц сделать письменно несколько заметок по этому поводу и передала их Мама, которая мне посоветовала обратиться к Папа. Он сейчас же понял необходимость учреждения таких школ и велел мне обратиться к графу Протасову, который был Прокурором Святейшего Синода. Сейчас же было решено, что эти школы будут содержаться на средства, поступающие от продажи свечей в церквах. 9-го мая, в день Св. Николая Мирликийского, Папа подписал этот указ. Осенью должна была открыться первая школа в Царском Селе. Мое сердечное желание исполнилось:

наконец то я смогла, хотя и в очень скромных границах, оказаться полезной своей стране.

Был найден маленький дом в Царском Селе, который принадлежал бывшему камердинеру Папа, жившему на пенсии. Его немного перестроили и школа была открыта для двадцати пансионеров. Через два года она увеличилась на 20 следующих, покуда их не стало шестьдесят. Тогда их разделили на три класса и они должны были учиться шесть лет. Вторая такая школа для дочерей священников, была открыта позднее в Ярославле. Госпожа Шульц стала во главе школы. В течение 34-х лет она выпустила 900 молодых девушек, которые расплылись по всей России и все они были тщательно подготовлены к своему будущему положению. — Я часто посещала школу, вскоре знала всех учениц по имени и могла следить за их успехами и ростом их зрелости. Госпожа Шульц, так же как и ее сестра Елизавета, которая заведовала школой в Ярославле, оправдали все возложенные на них надежды.

Теперь я должна перейти к совершенно иным событиям того года. Мэри, которая была с семьей в Италии, написала из Рима об одном принце Гессенском, с которым она познакомилась и предгагала его как подходящего, по ее мнению, кандидата мне в мужа. Опять кандидат! Стали собирать сведения и выяснилось, что это принц без страны. Правда, были возможности наследия из-за его принадлежности к дому Гессен-Кассель, а также Дании. Поручили Максу позондировать почву, хочет ли он сделать визит в Россию. Он сейчас же радостно согласился, выразил только сомнения по поводу того, — не слишком-ли он молод для брака? Мэри и Макс вернулись из Италии в июне, Мэри опять в ожидании, Макс очень поправившийся. Рекомендованный ими Фриц Гессенский приехал вместе с нашим кузеном Фрицем Мекленбургским немного позднее. Мы с Троицы жили в Петергофе в Летнем Дворце, оба молодых человека остановились у нас. Адини, которая была простужена и кашляла, не появилась в первый день их посещения за ужином. Фриц Гессенский сидел за столом подле меня. Мне он

показался приятным, веселым, сейчас же готовым смеяться, в его взгляде была доброта. Только на следующий день, незадолго до бала в Большом Петергофском Дворце, он впервые увидел Адини. Я была при этом и почувствовала сейчас-же, что с этой встречей произошло что-то значительное. Я испугалась; это было ужасным мгновением. Но я сейчас же сказала себе, что я не могу стать соперницей собственной сестры. Целую неделю я страшно страдала. Мои разговоры с Фрицем Гессенским были совершенно бессмысленны: он вежливо говорил со мной, но стоило только появиться Адини, как он сейчас же преображался. Однажды после обеда, когда Адини думала, что она одна, она села за рояль и она, которая играла очень посредственно, сумела неожиданно вложить в свою игру столько выражения, что казалось, что она изливает свою душу в этой игре. Теперь мне все стало ясным и я вошла к ней. Что произошло между нами, невозможно описать словами, надо было слышать и видеть, чтобы понять, сколько прекрасного было в этом прелестном создании. — Да будет священной твоя память!

Вечером в тот же день, был большой прием в Стрельне, и после него Папа со всеми мужчинами уехал на маневры. Не успели они уехать, как я бросилась к Мама и сказала: «Адини любит его!» Мама посмотрела на меня и возразила: «А ты?» — Никогда я не забуду этого вечера на Стрельницкой террасе. Мама прижимала нас обеих к себе. Вдруг мы услышали вдали колокола Сергиевского монастыря, звонившие к вечерне. Мы поехали туда. Я опустилась на колени подле могилы Марии Барятинской и ясно чувствовала, что по ту сторону бытия была другая жизнь, в которой все несбывшееся найдет свое осуществление.

Год спустя, мы прочли в дневнике Адини запись ее сердечной истории; одно число было особенно подчеркнуто и заметка под ним гласила: «Он мне пожал руку, я наверху блаженства». Она видела своего Фрица через поэтическую вуаль своих восемнадцати лет и Бог отозвал ее к Себе, ранее чем ее взгляд увидел другое.

В день Петра и Павла, 29-го июня, во время торже-



ственного обеда, была объявлена помолвка. Когда Фриц незадолго до этого спросил Папа, смеет ли он говорить с ним, Папа заключил его в свои объятия и ответил: «Вот мой ответ!». 1-го июля, в день рождения Мама, принимались поздравления. Мне же многие выразили сочувствие. Одни говорили: «Он мальчик и слишком молод для вас», — другие: «Он никогда не был бы достоин вас!» Последнее я с ужасом отвергла: Адини была в тысячу раз ценнее меня и заслужила быть счастливой.

Вечером в тот же день Папа постучался ко мне. «Если у тебя есть потребность в соседи, здесь перед тобой друг, которому ты можешь излить свое сердце!» Папа страдал за меня и все-таки он был счастлив удерживать меня при себе. Конечно, он любил также и Адини, но она была для него еще ребенком, а не равной ему, с которой можно было поговорить как со мной; к тому же Адини была всегда очень молчаливой в его обществе из боязни неправильно говорить по-русски. (Благодаря своей английской воспитательнице, она не научилась свободно говорить на родном языке). Каким сокровищем была Адини, Папа понял в тот момент, когда ее не стало.

23-го июля у Мэри родился сын, которого назвали Николаем. Папа покинул маневры, чтобы обнять этого своего внука. Обе дочери Мэри были больны коклюшем и в ночь после рождения маленького Николая, состояние маленькой Адини настолько ухудшилось, что опасались за ее жизнь. Макс ходил от кровати ребенка к постели матери и старался улыбаться, чтобы успокоить встревоженную мать. Но ребенок умер в ту же ночь. В то время как перевозили маленькое тельце в Крепость, Мэри казалась, хотя она ничего не знала об этом, что звонят колокола и горят огни факелов. Только на двенадцатый день после рождения ее сына, врачи позволили сказать ей правду. Макс пришел к ней с маленькой Марусей на руках. «А Адини?» сейчас же вскричала она. «Доктора обеспокоены ее состоянием», ответил Макс смущенно. Она упала на колени и сказала беззвучно: «Она умерла!» — Ее печаль разрывала

душу. Никогда больше она не произнесла имени ребенка. Мэри приказала построить часовню на месте павильона, в котором умерла маленькая. Она сама следила за эскизами для часовни и с большой тщательностью выбрала туда иконы. Так же сдержанно она держалась, когда двадцать лет спустя потеряла своего маленького Григория, сына Строганова, за которого вышла после смерти Макса.

Вскоре после этого грустного события, однажды вечером донесли, что герцог Нассауский и его брат Мориц прибыли в Кронштадт и ожидают указаний Папа, где и когда они могут сделать ему визит. В то время не было принято, чтобы принц или какой-нибудь путешественник, имевший значение, приезжал в Россию без предварительного приглашения или же запроса. Папа приказал герцогу приехать в Ропшу, где был на маневрах, принял его в своей палатке и герцог тотчас же сказал ему, что просит у него руки Великой Княжны Елизаветы (дочери дяди Михаила). Папа был удивлен, но ничего не имел против этого, и герцог поспешил уехать в Карлсбад, где в то время лечилась со своими дочерьми тетя Елена. Мориц же остался у нас. Это был красивый мальчик, хорошо сложенный, очень приятный в разговоре, с легким налетом сарказма. Он быстро завоевал наши симпатии, мне же он нравился своим великодушием, заложенным в его характере, а также своей откровенностью. Восемь дней он оставался у нас; затем он уехал. Мое сердце билось как птица в клетке. Каждый раз когда оно пыталось взлететь, оно сейчас же тяжело падало обратно.

Мэри узнала, что Мориц уехал с тяжелым сердцем и спросила меня: «Хочешь чтобы я поговорила с Папа? Он, конечно, разрешит тебе брак вроде моего». Я подумала, но все же сказала: «Нет!» Я не сказала вслух того, о чем подумала, что жена должна следовать за мужем, а не муж входит в Отечество жены, а также, что мне было бы унизительно мысль о том, что Мориц играет роль, подобную Максу. Это было последним происшествием такого характера; влюбленность, где теряется сердце, в то время как благоразумие удерживает и предупреждает, становится мучительной.

Никто, кроме Альбрехта, не внушил мне достаточного доверия для того, чтобы вместе пойти по жизненному пути. Брак, каким я представляла его, должен был быть построен на уважении, абсолютном доверии друг к другу и быть союзом в этой и потусторонней жизни. Молодые девушки, главным образом принцессы в возрасте, когда выходят замуж, — достойны сожаления, бедные существа! В готтском Альманахе указывается год рождения, тебя приезжают смотреть как лошадь, которая продается. Если ты сразу же не даешь своего согласия, тебя обвиняют в холодности, в кокетстве или же о тебе гадают, как о какой то тайне. Была ли я предназначена для монастыря или же во мне таилась какая то несчастливая страсть? Так говорили в моем случае. Мама все еще надеялась возобновить разговоры о эрцгерцоге Стефане. Тут Папа получил известие, что у Стефана чахотка и что он не решается поэтому принять наше приглашение и отправиться на маневры с их трудностями. — Одновременно же мы узнали, что Альбрехт, по воле своего отца, женился на баварской принцессе Хильдегард.

Осенью этого года, вся семья собралась в Царском Селе. 8-го сентября, в день Рождества Богородицы, у Мари родился сын, Николай, будущий наследник Престола. Радость была неописуемой. Папа приказал своим трем сыновьям опуститься на колени перед колыбелью ребенка, чтобы поклясться ему, будущему Императору, в верности. — Кто мог тогда думать, что этот Наследник, этот ребенок, который связывался со столькими, вполне заслуженными, надеждами, которого так тщательно воспитывали, что это существо сгорит в 22 года вдали от Родины, незадолго до свадьбы с датской принцессой Дагмарой. (Никс умер в Ницце 12-го апреля 1865 г. В его память там основана церковь украшенная иконами с Родины). Крестины были в октябре, Папа и я были крестным отцом и матерью. Как своей «куме» Папа подарил мне, по русскому обычаю, прекрасную опаловую брошь.

Мы очень полюбили тихие дни, в которые молодая мать должна была жить вдали от всяких развлечений и обязанностей. Как уютно было в комнатах, совер-

шенно закрытых для внешнего мира, с полупущенными шторами, в которых лежало юное существо, ослабевшее, но счастливое, с ребенком в руках. Какими сердечными, какими откровенными были наши разговоры, как мы все, сестры и братья, любили друг друга и наших родителей! Происшествия этого года сблизили нас, если это только было возможным, еще больше, каждый приобрел опыт, мучительный или счастливый, и каждый получил любящую поддержку. Только потом я поняла, как легко в таких условиях делать добро, исполнять свой долг. Если передо мной стояла какая-нибудь задача, я отдавалась ей всей душой. После смерти моих родителей, к сожалению, моя энергия ослабла. Со смертью родителей я потеряла мою опору и все таки я всегда старалась быть достойной их памяти, так же как и мой муж, который чувствовал себя после того, как побывал вместе с Папа, внутренне возвышенным. Благодаря мне и моей матери он впервые узнал, что значит семья, оттого что никогда не знал счастливого детства или любящих родителей.

Год приближался к концу, скоро должен был наступить новый, которому суждено было бросить на мою жизнь глубокую тень. В октябре приехала мистрис Робертсон, известная английская художница, чтобы написать с Адина большой портрет в натуральную величину. В розовом платье, с волосами, заплетенными по обе стороны лица, такой она изображена на нем. Она была немногим меньше меня; с не совсем правильными чертами лица, она была очень хороша своеобразной красотой. Ее лицо всегда сияло весельем, но сейчас же меняло свое выражение, как только начинался разговор о чем-нибудь серьезном. В молитве, когда я закрывала глаза, чтобы сосредоточиться, она наоборот, широко открывала глаза и руки, точно желая обнять небо. Она, которая так нетерпеливо ждала момента, когда попадет в общество, уже после одного года, вернее одной зимы, была разочарована той пустотой, которую встретила. «Жизнь только коридор», говорила она, «только приготовление». Она любила религиозные книги. Ее «Последование Христу» было совершенно испещрено карандашными пометками, особенно глава о

смерти. И несмотря на все это, у нее не было никаких трагических предчувствий, каждый считал ее обладательницей здоровой натуры.. Она никогда не садилась во время богослужения, даже если оно продолжалось часами. Когда она бывала в комнатах детей, она всегда поднимала маленьких на воздух, кружилась с ними, шалила с младшими братьями и совершала с ними самые далекие прогулки верхом. Обежать парк в Царском Селе, было для нее пустяком, в то время как я была обязана беречься оттого, что считалась хрупкой. И все таки это я, которая должна была ее пережить! С июня этого года Адени начала кашлять. Мисс Браун, вместо того, чтобы обратить на это внимание, заставила ее продолжать принимать морские ванны, которые считала закаляющими и которые, по ее почину, Адени принимала каждый день. Когда мы поехали поздней осенью в Москву, кашель настолько ухудшился, что Адени несколько раз просила освободить ее от вечерних приемов. Зимой она снова поправилась и в рождественский пост могла принимать участие в необходимых службах, которым отдавалась с еще большим рвением, ввиду предстоящей разлуки с нами и своим девичеством. Фриц Гессенский приехал в Сочельник к раздаче подарков. В Концертном зале были расставлены столы, каждому свой. Я получила тогда чудесный рояль фирмы Вирт, картину, нарядные платья к свадьбе Адени и от Папа—браслет с сапфиром—его любимым камнем. Для Двора и светского общества был праздник с лотереей, на которой разыгрывались прекрасные фарфоровые вещи, вазы, лампы, чайные сервизы и т. д.

26-го декабря было официальное празднование помолвки Адени, а на следующий день большой прием. Фриц, рядом со своей прелестной невестой, казался незначительным и без особой выправки. Позднее я вспоминала как был обеспокоен старый доктор Вилье, лейб-медик дяди Михаила, после того, как пожав руку Адени он почувствовал ее влажность: «Она должна быть нездорова» сказал он тогда.

Отец Фрица, старый Ландграф Гессенский, прибыл к предстоящим торжествам из Копенгагена. Это был человек с прекрасными манерами, очень простой в об-

ращении, которому нельзя было дать его семидесяти лет. Очень естественный и безо всяких претензий, он принадлежал к натурам, которые любил Папа, и оба отца улыбались счастливо, глядя на Адени, прелестную невесту. После обеда невеста и жених встретились в моей комнате; меня они называли своим добрым ангелом, оттого что я вскоре их предоставила самим себе. Они ворковали часами и время всегда казалось им слишком коротким. Оттого, что Саша и Мари в это время были в Дармштадте, я часто чувствовала себя одинокой и грустной.

## 1844 ГОД

Кто жил в полном согласии с любимой сестрой, поймет, что я переживала перед приближающимся прощанием с Адени. 16-го января была отпразднована свадьба. На последнем балу, заключительном после всех празднеств, во время полонеза, от радости, что все торжества кончены, танцевали бешеный галоп через все большие залы, с Папа во главе. Камер-пажи с трудом попевали за нашими шлейфами и за ними задыхаясь от усилия, следовал весь Двор.

Фриц и его молодая жена должны были остаться у нас до весны и занимали большие апартаменты в Северном флигеле Дворца, которые были очень нарядны, но неудобны. Адени должна была пройти пять салонов, прежде чем попасть в комнату к своему мужу. На Пасху предполагался переезд в Копенгаген, где для молодых устраивался Дворец, а также дом на морском берегу для летних каникул. Датская королевская чета любовно заботилась об обоих молодых людях.

Светская жизнь этой зимы была, пожалуй, особенно богата разнообразием. Каждый хотел что-то сделать для молодых, и в их честь было дано одиннадцать больших балов. Три раза в неделю посещали итальянский или французский театр, между ними иногда русский. Артисты были прекрасны, но репертуар неважный. После Грибоедовского «Горе от ума» не ставили больше ни одной значительной пьесы, кроме Гоголевского «Ревизора», который, благодаря поддержке Папа, миновал цензуру. — Я, для которой светская жизнь была обязанностью, приучила себя после балов или празднеств вставать на час раньше, чем обычно. В санях я уезжала в Царское Село к моим маленьким дочерям священников и возвращалась оттуда только к обеду. Это было для меня большим удовлетворением, но чтобы скрыть от других, что внешняя оболочка жизни мне уже недостаточна, из страха, что мои серьезные наклонности будут осмеяны, я изображала в обществе кокетку, чтобы только не показать скучное или усталое лицо.

Адини простудилась во время того, как возвращалась с бала от Нессельроде. Одно из окон экипажа было, по недосмотру какого-то лакея, опущено при десяти градусах мороза. На следующий день она проснулась с жаром. Никто не придавал этому серьезного значения, полагаясь на ее здоровую натуру. Она появилась, как всегда, за утренним завтраком, а также вечером к обеду, зная, что родители следили за этим, особенно за нею, которая вскоре должна была покинуть их. Так было и на следующий день. Я сама не заметила в ней никакой перемены, когда мы, в никогда неиссякавшем разговоре двух сестер между собой, сидели вместе. С живостью она рассказывала мне о своем плане, который набросала для совместной жизни с Фрицем. Она хотела развить Фрица морально и духовно, хотела читать с ним, главным образом, Плутарха, чтобы пример благородных мужей помог ему. Она подозревала его склонность искать развлечения в неравном себе обществе, однако была убеждена, что вскоре совершенно изменит его: «Мы ведь так любим друг друга». Мы говорили также часто о религии. То, что молодые девушки переходили



**Великая Княжна Александра Николаевна (Адини).**





в католичество, нас очень удручало. В большинстве случаев это были такие, что воспитывались за-границей, главным образом, во Франции. Они выросли без всякой связи с родной Церковью. Мы же были пронизаны учением нашей православной веры. Как мы благословляли судьбу за эту нашу веру отцов, как мы любили нашего духовника о. Бажанова! Терпимый в своей религиозности и совершенно беспристрастный, он учил нас истории Церкви. Благодаря ему, мы научились понимать, что русское существо и русская Церковь неразъемлемая единица. Когда мы стали взрослыми, о. Бажанов приходил, как и прежде, каждый понедельник к нам, но вместо урока были разговоры, сердечные и задушевные.

С тех пор как мы стали более зрелыми и более серьезными, мы видели вещи, которые прежде едва касались нашей жизни. Это было общественное мнение, вернее, его отголосок, на разные мероприятия Правительства. Нас постоянно возмущало двуличие многих: в лицо Государю — они говорили одно, а за спиной — другое. Кроме Киселева и Бобринского, я не помню никого, кто бы говорил с Папа так откровенно и свободно. Почему п р а в д а всегда редко доходит до монарха такой, как она есть, а не в искаженном виде? Боязнь ли это показаться в невыгодном свете, трусость, ревность, интриги, преследующие какую-либо цель или только потребность внести путаницу? Может быть все вместе действует на поведение камарильи, этого бича каждого Двора. Какими зоркими должны быть глаза Монарха, какими крепкими его сердце и его мысли, чтобы остаться невозмутимым и невзирая на все это продолжать управлять!

В конце Великого Поста этого года, мы переехали как всегда в Аничков, чтобы приготовиться к Причастию. Возвращение же после Пасхи в Зимний Дворец происходило уже без Адини. Она была в ожидании и очень ослабела от сильного кашля. Врачи предписали ей покой и уложили в постель на три недели. После этого срока она переехала в Зимний Дворец и поселилась в своих мрачных комнатах, страдая по свету и зелени садов в Аничковом, которые там были под ее ок-

нами. Поездки в коляске были ей запрещены и она проводила целые дни, безропотно лежа на своем диване, Никто не беспокоился о ней. Папа предпринял поездку в Англию, чтобы познакомиться со своей юной племянницей Викторией и ее супругом Альбертом. Во время разгара празднеств в его честь, он узнал ужасную весть, что у Адени скоротечная чахотка. Сам Мандт приехал к нему, чтобы сказать ему эту страшную новость. По его словам одно легкое было уже совершенно разрушено и надежды на поправку не было. Уезжая Папа сказал Адени при прощании: «До свиданья в Копенгагене!» Мандт был в это время в Теплице, чтобы лечить свою больную ногу, а оба других врача обратили все свое внимание на беременность Адени, приписывая ее состояние здоровья этому обстоятельству. Когда Мандт в мае вернулся обратно, он два раза очень тщательно исследовал больную. После этого, не теряя лишних слов, он сейчас же уехал к Папа в Лондон. Папа тотчас же прервал свой визит и приехал в большой спешке в Петербург. Мы уже несколько дней, как жили в Царском Селе.

Деревенский воздух оживил Адени, она часто сидела в саду и предпринимала маленькие прогулки в экипаже с Фрицем, чтобы показать ему свои любимые места. Когда Папа передал нам диагноз Мандта, мы просто не могли ему поверить. Врачи же Маркус, Раух и Шольц были совершенно уничтожены. Их, кроме Шольца, который был необходим как акушер, сейчас же отпустили. Мандт взялся за лечение один. Он был так же несимпатичен Адени, как нам всем, и только из послушания она пересилила себя и позволила ему себя лечить. К счастью, он не мучал ее. Горячее молоко и чистая вода, чтобы утолить жажду, было собственно все, что он предписал. Эту воду он магнетизировал, оттого что по его мнению это успокаивало больную. Когда дни стали теплее, Адени стала страдать припадками удушья. Мама отдала ей свой кабинет, который со своими семью окнами был даже летом полон воздуха и свежести. Его устроили как спальню для Адени. Когда Мандт сказал ей, что было бы лучше для нее, чтобы Фриц жил отдельно, она долго плакала. Фриц был пре-

исполнен нежности по отношению своей молодой жены, но Адина знала, что он не выдержит долго спокойной жизни и постоянно уговаривала его что-либо предпринять, боясь что он может скучать из-за нее. Уже в начале своей болезни, она выразила желание видеть свою «Мисс», и Мисс приехала, сейчас же прошла к постели своей «дорогой девочки», чтобы уже больше не покидать ее. У нее на груди Адина выплакала то, что ее заставили расстаться с Фрицем. В середине июня, за несколько дней до ее 19-тилетия — положение ухудшилось. Она была точно выжжена жаром. Приступы тошноты мешали ей принимать пищу, а припадки кашля — до сорока раз в ночь — разгоняли сон. Мне было поручено предложить ей причаститься. «Я слишком слаба, чтобы приготовиться», возразила она мне. Отец Бажанов написал ей: «Ваша длительная болезнь — это лучшая подготовка». «Если он считает меня достойной, я хочу причаститься завтра» — было ее ответом. На следующий день было рождение Адина. Обедню служили в наскоро устроенной часовне в Александровском дворце; оттуда мы все прошли за священником, который нес Св. Дары к больной. Мы все опустились на колени за ее кроватью, в то время как священник читал молитву. Ясным голосом, она повторяла слова молитвы и, принимая Святое Причастие, скрестила руки на груди. В глазах ее было какое-то особое сияние. Она протянула всем нам руку, с улыбкой, в которой уже не было почти ничего земного. Затем, молча, она попросила нас удалиться, ей нужен был покой. Когда, через несколько часов, она позвала меня к себе, ее лицо все еще светилось неземным светом.

«Сегодня ночью мне пришла мысль о смерти», сказала она и сейчас же прибавила: «Боже мой, неужели я не смогу выносить своего ребенка до конца?» Но тут же тихо добавила: «Пусть будет, как угодно Господу!» И затем она добавила своим обычным, почти детским, голосом: «Знаешь Олли, я много думаю о Папа, который теперь из-за меня остается в Царском, где он живет так неохотно. Я подумала о занятии, которое доставит ему удовольствие. Посмотри, здесь я нарисовала что-то для него». И она показала мне эскиз маленько-

го павильона, который был задуман для пруда с черными лебедями. Этот эскиз она переслала Папа со следующими строками: «Милый Папа, ввиду того, что я знаю, что для вас нет большей радости, как сделать таковой Мама, предлагаю вам следующий сюрприз для нее...»

Этот павильон был построен после ее смерти и близости от него на берегу пруда часовня с ее статуей с ребенком в руках, сделанная Витали.

С того дня, как она приняла Причастие, стало казаться будто болезнь приостановила свое разрушительное действие. Мы, обнадеженные этим, воображали что это улучшение. Мама говорила о поездке в Берлин, которая сделала бы для нее возможным сопровождать Адина при ее поездке в Копенгаген, по крайней мере до Штеттина, так как ребенок должен был родиться в Копенгагене. 30-го июня акушерка установила первые движения ребенка. Адини сейчас же написала об этом счастливом событии Мама. Начиная с этого дня, ни одной жалобы больше не сорвалось с ее губ. Она думала только о ребенке и только ему она посвятила свою болезнь. Лежа у окна, она смотрела на синеву неба. Так она лежала часто со сложенными руками в немой молитве. Однажды, когда я принесла ей букет полевых цветов, она сказала мне: «О пожалуйста, не нужно больше; они вызывают во мне только грусть, оттого что я не могу больше собирать их сама». И когда Папа подарил ей изумрудный крест: «Вы так хороши все ко мне, ваша любовь прямо давит меня».

Врачи хотели, чтобы наши родители поехали немного в Петергоф, под предлогом, что больная увидит в этом хорошее предзнаменование; на самом же деле, они только хотели немного отвлечь их от удручающей заботы. Смотреть на Папа было правда ужасно: совершенно неожиданно он стал стариком. Мама часто плакала, не теряя однако надежды.

Прохладные, дождливые дни в июне, которые принесли облегчение Адину, обернулись в июле в летнюю жару. Красные пятна на ее щеках возвестили о возвращении жара. Врачи прописали ингаляцию креозотом; Адини все исполняла с большим терпением, но ее

слабость усиливалась. Сначала она отказалась от прогулок в сад, затем от балкона и могла пройти только несколько шагов от постели к дивану, который стоял у открытого окна. Скоро она перестала даже читать и Фриц, «ее Фриц», когда он бывал при ней, утомлял ее. Мисс Хигг и старая камерфрау Анна Макушина менялись, ухаживая за ней. Она так похудела, что ее губы не закрывали больше зубов и прерывистое дыхание заставляло ее держать рот открытым. Но все это не делало ее некрасивой. От ее худобы, обручальное кольцо спадало с ее пальца; Папа дал ей тогда совсем маленькое колечко, которое держалось на нем. — Это кольцо я ношу по сей день ровно сорок лет. В середине июля она неожиданно выразила желание выйти в сад, и попросила Папа и Фрица к себе, чтобы они снесли ее вниз по лестнице. Поддерживаемая с обеих сторон, она сделала только несколько шагов и попросилась обратно в комнату. Врачи увидели в этом последнюю вспышку ее сил и не надеялись на то, что она переживет ночь. Но она прожила еще пятнадцать дней. В конце месяца она позвала наших маленьких братьев и Кости, который только что вернулся из поездки в Белое море, к себе. Всем троим Она передала маленькие подарки и сказала: «Хотя ваши дни рождения и осенью, я сегодня уже хочу передать вам маленькие сувениры, кто знает, где я буду тогда!» Мысль о родах очень занимала ее. Она хотела быть в то время в Аничковом Дворце. Но ночью с 28-го на 29-е июля у нее начались сильные боли; это были первые схватки. Ей ничего не сказали об этом, но она догадалась сама по встревоженным лицам сиделок, и начала нервно дрожать при мысли о преждевременных родах. «Фриц, Фриц», вскричала она, «Бог хочет этого!» И неопиcуемый взгляд ее поднятых кверху глаз, заставил догадаться о том, что она молится. Ее пульс ослабел, послали за священником, и о. Бажанов исповедал и причастил ее. Это было в восемь часов утра. Между девятью и десятью часами у нее родился мальчик. Ребенок заплакал. Это было ее последней радостью на земле, настоящее чудо, благословение Неба.

Ребенку было только шесть месяцев. В этот

момент меня впустили к ней. «Олли», выдохнула она, в то время как я нежно поцеловала ее руку. «Я — мать»! Затем она склонила лицо, которое было белым как ее подушки и сейчас же заснула. Лютеранский пастор крестил маленького под именами Фриц-Вильгельм-Николай. Он жил до обеда. Адени спала спокойно, как ребенок. В четыре часа пополудни она перешла в иную жизнь.

Вечером она уже лежала, утопая в море цветов, с ребенком в руках, в часовне Александровского Дворца. Я посыпала на ее грудь лепестки розы, которую принесла ей за день до того с куста, росшего под ее окном. Священники и дьяконы, которые служили у гроба, не могли петь и служить от душивших их рыданий. Ночью ее перевезли в Петропавловскую крепость; Фриц, Папа и все братья сопровождали гроб верхом.

У меня больше нет сил писать об этом и о тех днях, которые последовали за тем. Все, кто потерял любимого человека, знают, что эти дни полны как любовью, так и болью. Мама могла плакать и облегчала этим свое горе. Папа же напротив старался бежать от него и проявлял необычайную энергию. Он избегал все траурные торжества, не любил черного и слез. Он не вернулся больше в Царское Село и распорядился изменить там клумбы, балкон и все, что напоминало о болезни Адени. Комнату, в которой она умерла, кабинет Мама, разделили на-двое; на том же месте, где она скончалась, повесили большую икону Св. Царицы Александры, черты лица которой отдаленно напоминали Адени.

Остальные недели лета мы провели в Летнем Дворце в Петергофе, покуда нас не выгнали оттуда осенние туманы. У меня было только одно желание: быть одной! Я могла часами сидеть в маленькой комнатке Адени, где все осталось неизменным с прошлого лета. Я читала маленькие тетрадки ее дневника, которые теперь лежали передо мной. Каждое слово этих трогательных записей говорило о нежности ее маленького существа и о любви, которую она питала ко всем нам

и особенно ко мне. В самые последние дни, она с нежной заботой думала обо мне.

Когда мы в своих черных платьях приехали осенью в Гатчину, где все напоминало пышные праздненства, развлечения и юношеские глупости, это явилось полным диссонансом нашему состоянию. Чтобы сделать мне сюрприз, Папа приказал обить мой кабинет прелестным красным кретоном, над которым была надпись: «Люби своего старого Папа здесь так же крепко, как в Летнем Дворце». Вечером, в день нашего приезда, он спросил меня, к которой из моих сестер я больше привязана: «О, к Адини», воскликнула я, «уже со своего пятнадцатилетия она была такой зрелой, что я могла делиться с ней каждой мыслью, каждым переживанием». Мэри же была как волчок, которого нельзя было схватить, так как он все время вертелся. С тех пор, как я потеряла Адини, я еще больше сблизилась с Сашей и Мари. При их маленьком «Дворе» было такое искреннее понимание, все дышало весельем и доверчивостью, как редко, где есть два Двора — Монарха и Наследника. Там не было ни интриг, ни ревности, ни сопротивления. Непринужденно и свободно все относились друг к другу, следуя потребности сердца и прекрасной привычки.

## 1845 ГОД.

Когда я проснулась в день Нового Года мне принесли пакет, отправителем которого было Военное Министерство. В нем было мое назначение шефом 3-го гусарского Елисаветградского полка. Я почти задушила Папа, устроившего этот сюрприз, в своих объятиях, и



он, тронутый до слез, обнял меня. — Я приказала запретить сани и поехала в крепость к Адини чтобы поделиться с ней своей радостью. Потом дядя Михаил провёл передо мной моих гусар в их чудесной белой форме, с белым ментиком. Папа непременно хотел нарядить меня так же, включая расшитые чакчиры генерала. Я же протестовала против брюк, Папа настаивал на этом и впервые в жизни он рассердился на меня. Наконец, был найден выход: вышивка должна была быть нашита на мою верховую юбку; со всем же остальным, включая саблю, я согласилась. Папа представил меня разным лицам в форме моего полка, и заказал для полка мой портрет в форме Елисаветградских гусар. Уменьшенную копию портрета он сохранил для себя; она была его любимым портретом. И когда я покинула дом после моего замужества, Папа уже с ней не разлучался. Он выразил желание, чтобы я сочинила для моих гусар полковой марш. Я сейчас же взялась за это, вместе с моим стареньким Белингом. Я напевала ему мотивы и он записывал их, потому что я понятия не имела о теории композиции. Результатом был марш полка, который носит мое имя в России, и который и сегодня еще играют в Штуттгарте для моих драгун.

Но вообще зима эта была серьезной и грустной, вся еще под впечатлением понесенной нами утраты. Мама жаловалась на глаза, которые были испорчены постоянными слезами, кроме того, она опять страдала сердцем, в то время как Папа жаловался на печень. Мы жили очень замкнуто. Единственными просветами были в феврале и марте рождения двух детей. У Мари родился мальчик Александр (теперешний Император Александр III), а у Мэри — девочка Евгения. Эти роды были очень сложные: ребенок появился на 3 недели раньше из-за испуга, который пережила мать. Она видела, как ее маленький сын Коля толкнул тяжелый стол с подсвечниками, который опрокинулся, и она решила, что ребенок погиб под ним. Но он тотчас поднялся целый и невредимый, в то время как мать стала жаловаться на спазмы, и разрешилась преждевременными и очень тяжелыми родами. По счастью, ребенок был очень мал и это обстоятельство спасло жизнь Мэри. Он



**Великая Княжна Ольга Николаевна  
в форме 3-го гусарского Елисаветградского  
Ее Имени полка.**



был так слаб, что не мог питаться у груди и целые шесть недель сомневались в том, что он выживет. В этом миниатюрном ребенке была заложена большая энергия, он должен был жить и обладал, как это выяснилось потом, самым сильным характером из всех детей Мэри.

Этой зимой мы слушали несколько прекрасных концертов зарубежных артистов, особенно запомнилась мне игра юной Клары Виик, впоследствии знаменитой Клары Шуман.

Волнующие вести дошли к нам из прибалтийских провинций. Местное население было там охвачено беспокойством. Пустили слух, что государство даст тем, кто перейдет в Православие, большие льготы. Было невозможно установить, каким образом эти слухи могли появиться? Во всяком случае, многие перешли в Православие и это повело к враждебному к ним отношению их немецких помещиков. Отец был неправильно информирован и думал сначала, что переход к Православной Церкви был искренним; он ненавидел все новообращенство и был, по православному, очень терпим в отношении других религий. Когда же выяснилось, что движение вызвано политическими мотивами и сеяло ненависть между немцами и латышами, был послан Опочинин, чтобы на месте выяснить, каким образом начались беспорядки и от кого исходила пропаганда. Эта миссия осталась, как все, где говорят страсти, без успеха. Это было начало той борьбы рас, которая в наше время стала еще острее и про которую только один Господь Бог ведает, как она закончится.

Я вспоминаю, как на Пасху этого года приехал в Петербург, чтобы представиться Государю, Патриарху-Католикос Нерсес, кавказский армянин. Это был маленький старичок, одетый во все белое, с большим носом и глазами, горевшими как уголья. Если я не ошибаюсь, это было первым шагом армян к подчинению. Отец посетил их монастырь у подножья Арарата, где ему показывали реликвию: кусок дерева от Ноева ковчега, который был найден монахами на том месте, куда пристал ковчег. Но на Папа величие природы там произве-

ло большее впечатление, чем подобные рассказы монахов.

Чудесные майские дни пробудили в нас тоску по Царскому Селу, где мы всегда проводили весну; но Папа не хотел больше туда, и мы переехали на Елагин Остров. Ввиду того, что общество собиралось там только в июне, мы жили совсем по-деревенски и на свободе. По утрам мы слышали пастушью свирель, искали грибы в лесах Крестовского острова, не встречая при этом ни души, только вечером на закате солнца появлялись некоторые экипажи. Без Адени, общество не казалось мне больше приятным. Изредка мы с Анной Алексеевной посещали земледельческую школу, основанную Львом Перовским, где крестьянам показывали рациональные методы земледелия.

Лето этого года проходило по обычной программе, только спокойнее чем обычно, ввиду того, что Мама чувствовала себя ослабевшей и жила очень замкнуто. Ко дню смерти Адени, приехал Фриц Гессенский. Мы поехали с ним в Царское Село, где в маленькой часовне у пруда была только что поставлена статуя Адени. У павильона, построенного по ее рисунку, ждали, что их покормят, черные лебеди. Но наверху во Дворце не существовало больше балкона перед ее комнатой, а также сирени под ее окнами, цветущие ветви которой доходили до самого окна. В дворцовой часовне служили панихиду, все разрывающие сердце воспоминания прошлого года встали передо мной: я видела ее лежащей с ребенком на руках посреди моря цветов и мне казалось, что с той любимой сестрой я похоронила свою молодость. Потом мы поехали в крепость и той же ночью вернулись на Елагин. Когда я думаю об этом последнем лете на Родине, меня охватывает невыразимая тоска по всем тем, кто раньше меня ушел в другую жизнь.

Здоровье Мама становилось все хуже. Оно трепетало как пламя свечи, грозящей погаснуть и сделало необходимым консилиум врачей. Они все требовали скорого отъезда на Юг, не ручаясь в противном случае ни за что. Папа был в отчаянии при мысли о долгой раз-

луке, но в конце концов согласился. Предложили Крым, но Папа отверг это ввиду того, что там бушевала малярия. Вопрос о Юге Франции даже не поднимался из-за короля Луи-Филиппа. Неаполь не подходил оттого, что там был Двор, а следовательно обязанности по отношению него. Поэтому остановились на Палермо. Там будет спокойно. Предполагалось, что Мама уедет на 9 месяцев. Я должна была сопровождать Мама. Мне это казалось приговором к смерти. Оторваться от близких, от Родины, без Папа, без братьев, скитаться по Европе, не зная когда можно будет воротиться и суждено ли мне привезти Мама обратно? Недели, которые последовали за этим решением, были подобны агонии. Родители стали еще нежнее ко мне, мы еще больше сблизились друг с другом. Папа взял от меня экземпляр Адини «Последование Христу». Он считал, что эта книга поучительна только для женщин, и обнаружил с удивлением, насколько это свидетельство глубокой и серьезной религиозности, подходит к взглядам и настроениям его натуры. С глубоким волнением читал он места, отмеченные рукой Адини.

23-го августа, после службы с молебном, мы отправились в путь. Нас сопровождали оба лейб-медика Мандт и Маркус, граф Апраксин и граф Шувалов и фрейлины Екатерина Тизенгаузен, Варинька Нелидова и Анна Алексеевна. К моей большой радости, для того, чтобы я «в изгнании» не была одна, к нам присоединилась в Италии, Вера Столыпина. Мы ехали в нескольких экипажах и только днем. Два экипажа были предназначены для камерффрау, из которых один всегда ехал перед нами, чтобы быть на месте, когда прибудет Мама и чтобы приготовить для нее все, к чему она привыкла. В то время как она спала, один из экипажей уже ехал дальше. Это было прекрасно организовано, оттого что ввиду массы экипажей, почта была не в силах поставить нужное количество лошадей и запрягали крестьянских лошадей, которые очень медленно подвигались с перегруженными экипажами. Поэтому часто бывали опоздания в 5-6 часов. До Штеттина мы ехали таким способом. В Кенигсберге мы остановились на день для отдыха, а 30-го августа празднова-

лось мое 23-хлетие в замке Мариенбург. Это было под вечер. Рыцарский Зал замка был ярко освещен факелами, навстречу мне несло хоровое пение и мне показалось, что я перенесена на столетия назад, во времена, когда рыцари Немецкого Ордена стояли здесь на страже своей веры.

Из Штеттина, где нас встретил Король Фридрих-Вильгельм IV и дядя Вильгельм, мы поехали по железной дороге в Берлин. Путешествие длилось 6 часов. На вокзале нас встретила русская делегация и бесконечные кузины и кузены всех возрастов. Когда мы наконец приехали в Сансуси, я была совершенно оглушена; Мама же была в восторге видеть своих близких и не чувствовала усталости. Несколько дней мы провели в Потсдаме, Берлине и Шарлоттенбурге. Эти дни неслись в вихре разных развлечений и празднеств. Король дал в нашу честь «Антигону» в инсценировке Тика. Это был уже пожилой человек; жил он, так же как и Александр Гумбольдт, при Дворе. Я посетила в Берлине скульптора Рауха в его ателье. Он был поражен моим сходством с Папа и очень хотел сделать с меня бюст. «Сейчас вы во цвете своих лет», сказал он, «через четырнадцать дней вы, может быть, уже будете выглядеть иначе». И он стал говорить о том, что возьмет отпуск и приедет в Палермо. Отпуска этого он не получил и это к большому моему сожалению, так как мне очень хотелось, чтобы он сделал с меня бюст.

Я страшно скучала во время визитов всевозможных немецких принцев и принцесс. Первые мне казались безвкусными и узкими в своих взглядах и натурах. Это было наверно следствием их воспитания, которое не требовало от них ничего иного, кроме военных учений, выдержки и хороших манер в обществе, а также знания верховой езды и охотничьих приемов. Все же остальное, как например прочесть хорошую книгу, было ненужным и смешным, ученый был только предметом насмешек, на которого они могли, благодаря своему знатному происхождению, смотреть свысока. Таковы были тогдашние принцы; стали ли они теперь иными? Совершенное исключение представлял собой Принц Карл Баварский. Несмотря на то, что ему было

уже за сорок лет, он сейчас же произвел на меня симпатичное впечатление. Он был преисполнен рыцарства и чувствовалось, что в нем есть сердце. При встречах с ним мы много и непринужденно болтали.

Через Веймар, Нюрнберг, Аугсбург мы приехали в Мюнхен и затем в Иннсбрук. Везде делались остановки, всюду были приемы в нашу честь, утомительные для Мама с ее больным сердцем. Меня не покидала боязнь, что она может серьезно захворать в дороге. К тому же погода была чувствительно свежей, особенно, когда, в Партенкирхене, мы приблизились к Альпам. Долины и горы были окутаны туманом, пейзаж казался мне безнадежным. Но когда мы перевалили через Бреннер неожиданно прояснело. Там где вытекает Етч, уже веяло мягким воздухом и над южными Альпами стояло синее небо. Встав в экипаже, я вдыхала в себя этот чудесный, южный воздух и смотрела вперед на дорогу, где в синем утре вырисовывались горы Италии. Вскоре направо и налево от дороги замелькали гирлянды виноградников, дома с плоскими крышами и стоящие отдельно от церкви, колокольни. Когда вечером около десяти часов мы достигли Триента, везде были открыты окна, поющие люди возвращались из деревни в город и их мелодичные голоса приятно ласкали слух. Я слушала и какое-то неведомое чувство счастья вливалось в мое сердце. Вскоре ко мне пришла мама и положила мою руку на свое сердце. Я чувствовала его равномерное биение, а она сказала мне, что не чувствует больше тех болей, которые непрерывно мучали ее в течение нескольких месяцев. Мы обе плакали радостными слезами. Здоровье Мама, которое было целью нашего путешествия, восстановилось, как только мы ступили на землю Италии.

Наш путь лежал через Бресция, Верона, через Ломбардию в Комо. Там нас нагнал курьер из Петербурга, принесший весть, что Папа через Прагу так же выехал в Италию. 4-го октября, когда мы обе были еще в постели, я услышала барабанный бой, подняла штору и вскричала: «Это Папа!». Чтобы сделать нам сюрприз, он приехал на три дня раньше, чем его ожидали. С его приездом для меня настали дни уверенности и



покоя, который он всегда распространял вокруг себя. Все вместе, мы поехали в Геную и оттуда морем в два дня в Палермо. Мама была совершенно ослабевшей, после морской болезни. Ее снесли в экипаж. Мы проехали через город и должны были еще полчаса добираться до предназначенной нам виллы «Оливуцца». Она принадлежала княгине Бутера (русской по происхождению), и была устроена в привычном для нас вкусе. Палермо не показался мне по приезду таким эффектным как Генуя или Неаполь. Я могла бы сравнить его с натурой, которая открывает свои сокровенные нежные стороны характера только постепенно. В саду нашей виллы росло все, что только есть в Италии: олеандры, пальмы, сикоморы, бамбуки и густые кусты мимоз, на клумбах — фиалки и розы, в изобилии. Любимая скамейка Мама стояла под кипарисом. Оттуда можно было видеть через цветы и зеленые газоны маленькое возвышение, со стоящим на нем небольшим храмом, по правую руку синело море. Уже в первые дни Вера Столыпина и я предпринимали на осликах далекие прогулки по окрестностям. Мы были совершенно одинаково одеты, в платья из козьей шерсти и в круглых шляпах из итальянской соломки.

В один прекрасный день, граф Потоцкий, наш посол в Неаполе, возвестил нам о визите Короля Фердинанда II Неаполитанского. Королева Тереза не смогла его сопровождать ввиду того, что еще поправлялась после шестого ребенка. Король, по фигуре настоящий колосс, получил воспитание, которое было свойственно бурбонским принцам до революции 1789-го года по девизу: «Государство это Я». Он был последователем и приверженцем этого девиза. Он был уверен, что встретит в Папа воплощение абсолютной власти и открыл ему свое сердце. Как глубоко было его удивление, когда Папа сказал ему, что считает себя первым слугой своего государства, и что впереди всего идет долг, особенно впереди собственных удобств или развлечений. Он был очень смущен и сознался, что был воспитан в ложных идеях и ложных представлениях. Он старался во всем подражать Папа. Надо считаться с этим, когда оцениваешь его личность или говоришь о тех ошибках,

которые были сделаны в его правление. В глубине души это был честный человек. Когда мы после месяцев пребывания в Палермо, поехали через Неаполь, мы несколько раз имели возможность убедиться в его деликатности и дружбе в отношении нас. Он приходил только, когда Мама приглашала его и каждый раз, когда говорилось о Папа, он сиял и называл его своим образцом для подражания.

Наше посольство в Неаполе делало все для того, чтобы Мама чувствовала себя в Палермо как дома. Из России выписали печи и печников, которые их ставили, русские пекаря выпекали наш хлеб, ничто не должно было напоминать Мама, что она вдалеке от России. У нас была православная часовня и священник, диакон и певчие с Родины. Если бы не солнце, и то неопишное чувство счастья, которое охватывает нас, людей севера, при виде моря, света и синевы, можно было бы думать, что мы дома.

Во время одной из наших поездок в окрестности, нас провели в униатскую церковь. Внутри все было таким как у нас, даже ризы священников; но эти последние подчинялись Папе Римскому и не смели жениться. Рядом, в семинарии, воспитывались молодые, обращенные из православия, люди. Я разговорилась с ними на духовные темы и должна была сдерживать смех, видя как ловко они старались парировать мои вопросы. Повидимому я произвела там большое впечатление, оттого что на следующий день несколько семинаристов появилось в саду нашей виллы, куда они перелезли через стену, и когда я сошла на утреннюю прогулку, они бросились к моим ногам, загрозили дорогу и кричали вперевивку, что они непременно хотят стать русскими подданными, и что я должна им помочь попасть на русские суда. Я была так напугана этим неожиданным вторжением, что позвала на помощь. Лейб-казаки Мама прибежали ко мне и отвели их в семинарию. Их разочарование было велико, но благодаря нашему заступничеству они избежали наказания за эту эскападу.

Наступала осень, но дни оставались попрежнему синими и мягкими. Почти ежедневно мы предприни-

мали поездки; одна из самых прекрасных была на Монте-Пеллегринно, по которому мы взбирались на наших маленьких осликах. Вид, который открывается при подъеме, заставляет чаще биться сердце. Красные скалы вблизи, вдаль синева моря, между ним апельсиновые рощи и темные кипарисы, выделяющиеся на фоне серых маслин — я все еще вижу это сегодня, так же как и грот, к которому мы попали через темную лощину. В этот грот, как рассказывает легенда, святая Розалия, Покровительница Палермо, бежала в день своей свадьбы. Она посвятила свою девственность Жениху Небесному и готова была потерять трон, лишь бы сберечь душу. Статуя Святой стояла в гроте, вокруг нее приношения паломников, на ее шее был надет Мальтийский крест на черной ленте. Глядя на статую, я невольно подумала: обречена ли и я, как эта Святая, на девственность? Это было 10-го ноября, я никогда не забуду этого дня. Вечером, когда, перед сном, я раскрыла Евангелие, я натолкнулась на то место в послании Святого Павла, которое всегда встречалось перед решительными моментами в моей жизни. Мое сердце забилося. И действительно, на следующий день Папа позвал меня к себе в необычный час. «Прочти», сказал он мне и протянул несколько депеш, которые ему доставили из Рима, «прочти, и не торопись с ответом; ты совершенно вольна в своем выборе; помолись сначала!»

Первая депеша была из Штуттгарта и содержала запрос Короля Вюртембергского о том, может ли его сын представиться мне в Петербурге, Вене или Палермо, оттого что он очень хотел бы познакомиться со мной. Вторая весть была от Меттерниха из Турина и сообщала, что Императорский Дом снова заинтересован в сближении, если австро-русская женитьба сможет облегчить положение римской церкви в русских землях, и если Папа, как представитель Православной Церкви, согласен примириться с Папой Римским. Папа протестовал против разговора о примирении, так как для него не существовало ни спора, ни конфликта между обеими Церквями. Ввиду возможности австро-русского брака, он говорил только о желаемом и дружественном приравнении обеих Церквей. Встре-

ча с Папой Римским предусматривалась в ближайшие недели.

Событие, о котором я мечтала в течение семи лет, казалось осуществимым. Но тут впервые во мне поднялись сомнения. Я буду привязана к мужу, который, не имея прочного положения, целиком зависит от всемогущего Меттерниха. Как странно, что я никогда не думала об этом прежде! Неожиданный запрос из Штуттгарта поверг меня в недоумение. Но я не долго колебалась. Я подумала о Папе и его совете, и предложила все решить за меня Господу. Папа же я предложила назначить визит вюртембергского кронпринца на январь, до тех пор будут закончены переговоры в Риме и он сам сможет решить который из обоих претендентов более приемлем для меня, а также и для него. Я снова почувствовала себя спокойной и счастливой и благодарила Господа, в руках Которого была теперь. Папа покинул нас в конце ноября, чтобы через Неаполь, Рим и Венецию возвратиться в Россию.

Синие, солнцем пронизанные дни, следовали один за другим, такие светлые и легкие; часы, следовали за часами, без того чтобы быть однообразными, и ко всему этому моральное и физическое самочувствие, вызывавшее радость бытия, согревавшее как ласковый огонь. Однажды вечером на наш двор пришли два музыканта, один играл на флейте, другой ударил в тамбурин. Горничные, лакеи, повара и садовники сбегались отовсюду и начали под звуки этой музыки танцевать тарантеллу. Маленькая, темнокудрая горбунья с желтым платком на плечах, танцевала с таким же упоением, как самая красивая девушка. Музыкантов попросили к нам наверх и мы тоже закружились в танце, под звуки кастаньет; даже Апраксин и старая княгиня Салтыкова вспомнили грацию своих двадцати годов. Мы все кружились вокруг Мама, которая сидела посреди нас, счастливо улыбаясь.

Перед Рождеством пришло письмо от Папы из Венеции. Вюртембергский Кронпринц представлялся ему там и Папа писал: «Благородство его выдержки и манер мне нравится. Когда я ему сказал, что решение за-

висит не от меня, а от тебя одной, по его лицу пробежала радостная надежда».

Иными были вести из Вены под конец года. Сначала пришло короткое письмо от Адлерберга: «Все кончено», стояло в нем. Мне казалось в один момент, точно погасили семь лет моей жизни. Но когда после этого пришло подробное письмо с описанием визита Папа в Вене, в глубине моей души шевельнулось что-то, похожее на благодарность. За пышными приемами, торжественными спектаклями и балами в честь Папа, скрывалось не что иное, как отказ и боязливое ожидание грядущих мрачных событий. Меттерних в разговорах с Папа производил впечатление собственной тени, его влияние ослабевало и опиралось только на былую славу его имени. В Венгрии — брожение, в Богемии вспыхивало стремление к независимости, положение Стефана там было далеко непрочным. Чтобы случилось со мной, после катастрофы 1843 года, как жены Стефана, когда он, скомпрометированный и преследуемый, должен был окончить свою жизнь в изгнании! Но еще менее приятным чем все это, был разговор, который Папа имел с Императрицей-Матерью. В своих апартаментах, она подвела его к алтарю, сооруженному на месте кончины Императора Франца I и начала говорить о гонениях, которым подвергается римско-католическая церковь в России. С театральными жестами, она спросила — видит-ли Папа возможность изменить это положение? Папа возразил ей, попросив доказательств таких гонений. На это Императрица не смогла ему ответить и стала говорить о русских законах, которые были направлены против католичества. «Назовите мне их!» ответил Папа. «Я не могу сейчас точно вспомнить», и прибавила к этому вопрос, должна ли Эрцгерцогиня выходя за Великого Князя переменить свою веру. «Конечно нет», был ответ Папа. Императрица чувствовала себя побежденной и попробовала занять более дружественные позиции. Но Папа был очень рассержен, тем более, что в разговоре Императрица не упомянула даже обо мне.

Совершенно откровенно он сказал ей, что это она — порвала с традициями, которые связывали покойного

Императора с Русским Царствующим Домом. Папа доказал свою верность своим визитом в Вену и хотел это сделать перед глазами всей Европы, но сама Австрия оттолкнула его.

Он уехал и все было кончено. Может быть Папа реагировал слишком круто, не принимая во внимание трудное положение в Вене, но не было ли это перстом Провидения? — Вена также была очень разочарована таким оборотом событий. Орлов слышал это от Лихтенштейна и Виндишгреца. Меня желали видеть невестой Стефана и видели в этом залог продолжения Священного Союза.

Курьер, со всеми этими новостями, прибыл к нам незадолго до Нового Года, когда я с Верой сидела за итальянским уроком. Мы горели желанием поскорее прочесть почту. Вера увидела между письмами письмо от своего брата, который должен был ей сообщить о князе Голицыне, которого она любила (несколько недель спустя она стала его счастливой невестой) и все же мы довели урок до конца. Мы обе были так взволнованы, так тронуты содержанием писем, что предпочли вечером, вместо того, чтобы идти в театр, как предусматривалось, пойти к вечерне в церковь. — Затем наступил последний день 1845-го года и я испытывала грусть, что Папа не было с нами, оттого что он каждый год благословлял меня в этот день.

## 1846 ГОД.

Проснувшись в день Нового Года я увидела перед моей постелью ковер, затканый розами. Его приготовила для меня Анна Алексеевна. Только по цветам должны были ходить мои ноги в этом году, так желало мне это любящее сердце. После обедни мы завтра-

кали в саду и там же принимали новогодние поздравления. Потом, за прогулкой, которая вела нас вниз к гавани, мы видели как к красивой церкви Мария де Катена причалила шлюпка. Из нее вышли лакеи в ливреях с чемоданами и пальто на руках. Кто был неожиданным гостем? — Может быть, он?

Возвратившись домой, мы узнали, что почтовый пароход Неаполь-Палермо, который должен был привезти нам весть, что приезжает Вюртембергский Кронпринц, опоздал из-за непогоды на двенадцать часов, в виду чего Принц прибыл одновременно с письмом, извещавшим о его визите. Тотчас Кости был отправлен в отель, где остановился гость, чтобы приветствовать его и привести к нам.

Я была готова с переодеванием еще раньше чем Мама. В белом парадном платье с кружевами и розовой вышивкой, с косой, заколотой наверх, эмалевыми шпильками, прежде чем войти, я подождала минуту перед дверью в приемную. Два голоса слышались за ней: молодой, звонкий голос Кости и другой, мужской, низкий. Что-то неопишное произошло в тот миг, как я услышала этот голос: я почувствовала и узнала: это он! Несмотря на то, что мое сердце готово было разорваться, я вошла спокойно и без смущения. Он взял мою руку, поцеловал ее и сказал медленно и внятно, голосом, который я тотчас же полюбила за его мягкость, «Мои родители поручили мне передать вам их сердечнейший привет», при этом его глаза смотрели на меня внимательно, точно изучая.

Вечером за столом были только самые близкие. Он был скорее застенчив, мало говорил, но то немногое, что он сказал, было без позы и совершенно естественно. При этом, он ел с аппетитом, что не согласуется с законом, говорящим о том, что влюбленный не может есть в присутствии дамы своего сердца. Это обстоятельство было так же замечено и отмечено нашим окружением. Перед тем как идти спать, я сказала Анне Алексеевне: «Очень прошу вас: ни слова о сегодняшнем дне: я не буду в состоянии что-нибудь сказать вам об этом, раньше чем, по крайней мере, через неделю».

Прошли четыре дня. Я познакомилась с его свитой,

со старым графом Шпитценбергом, адъютантом фон-Берлихинген, врачом Хардегг и секретарем Хаклендер. Мы гуляли, а по вечерам весело играли в разные игры, но никогда еще не нашли мы случая для разговора с глазу на глаз — наше общество было слишком мало для того, чтобы можно было уединиться. 5 января, в сияющий, солнечный день, мама предложила нам поездку на Монреаль. Мы шли пешком по горной дороге вверх, я опиралась на руку Кости. Он с Мама, позади нас. Солнце было близко к закату и окружающие горы ясно обрисовывались на вечернем небе: темно-синие в розовом освещении, которое казалось заливало весь край, лежавший у наших ног. Простыми, сердечными словами, он говорил Мама о том, как счастья видеть такую красоту. Когда я слушала его голос, во мне развивалось и углублялось чувство доверия, которое я испытала к нему, в первый момент встречи.

На следующий день, Крещение (в России оно празднуется по старому календарю и связано с водосвятием), я жарко молилась, чтобы Господь вразумил меня и указал, как мне поступить. Я встретила с ним, после службы, в комнате Мама. По ее предложению, мы спустились вниз, в сад. Не помню, как долго мы бродили по отдаленным дорожкам и о чем говорили. Когда, снова, мы приблизились к дому, подошла молодая крестьянка и с лукавой улыбкой предложила Карлу букетик фиалок «пер ла Донна». Он подал мне букет, наши руки встретились. Он пожал мою, я задержала свою в его руке, нежной и горячей.

Когда, у дома, к нам приблизилась Мама, Карл сейчас-же спросил ее: «смею я написать Государю?» — «Как? Так быстро?» — воскликнула она и заключила нас в свои объятия, с поздравлениями и благословениями.

Анна Алексеевна была первой, которую мы посвятили в случившееся. Она, после первой-же встречи, поняла, что происходило в моем сердце. Я знала и чувствовала, что все хорошее во мне должно было пробудиться теперь, когда я любила и была любимой, и я молилась о том, чтобы Господь сделал меня достойной Карла.



Со всех сторон посыпались поздравления (в России слуги принимают участие в семейных событиях, как нигде в другой стране); я была тронута их радостью, они целовали мне руку, а моему жеиху плечо. День прошел за писанием писем; было решено объявить помолвку, как только придет письмо Папа из Петербурга. Кости, который увлекался теперь всем Античным, сравнил меня с Пенелопой и ее женихами: «Ну, — говорил он, — наконец, появился и Уллис!»

Как он выглядел? Выше среднего роста, он был выше меня на полголовы. Глаза были коричневые, волосы красиво обрамляли лоб и виски, губы полные, выгнутые, улыбка заразительная. Руки, ноги, вся фигура были безупречны. Таким я вижу его перед собой, с одной только ошибкой: он был на шесть месяцев моложе меня. О, какое счастье любить!

Прошли три безоблачных дня, на четвертый письмо из Штуттгарта омрачило нашу радость. С поздравлениями к помолвке пришло известие о том, что Король Вильгельм заболел. Старый Шпитценберг считал, что надо сейчас же возвращаться; но Мейендорф сумел убедить его, что даже в том случае, если надо ожидать конца, они не смогут приехать во-время и лучше поэтому оставаться и ждать дальнейших вестей. Зачем разлучать нас в эти первые дни счастья, которые никогда не повторятся?

Таким образом, нас ожидали дальнейшие счастливые дни и первое совместное празднество — на корабле «Ингерманланд» в нашу честь давался бал. Палуба была украшена шатрами из флагов всех стран, играл военный оркестр и первый танец я танцевала с Карлом. По его просьбе, я надела платье, которое было на мне в день помолвки: фиолетовое с жакеткой с жемчужными пуговицами. Я упоминаю эти мелочи, оттого что когда любишь, каждой мелочи придаешь значение и блеск.

Однажды, когда Мама привела его ко мне наверх, в мою красивую комнатку, он остановился на пороге и поцеловал меня в лоб. С тех пор моя комнатка казалась мне освященной. Идти с ним под руку, или прижавшись головой к его коленям сидеть у его ног и

слушать, как он повторяет: «Олли, я люблю тебя», все это подымало меня на небеса. Для невесты дни проходят, как один единственный сон; она живет в привычной обстановке своего окружения, но поднятая высоко над ней своей любовью и душевным равновесием. Для жениха, конечно, это время более смелых желаний и надежд.

Наш сон продолжался неполных десять дней. Врачи из Штуттгарта написали, что непосредственная опасность устранена, но в возрасте Короля (ему было шестьдесят четыре года) поправка идет медленно и поэтому было бы желательно, чтобы Кронпринц вернулся. В момент, когда звал долг, колебаний уже не было. 16-го января он еще раз пришел к так нами любимому часу завтрака, мы сошли с ним в сад и обошли все любимые дорожки вдоль стены, которая была покрыта цветущими розами и малиновыми бугенвиллиями. В последний раз мы вместе вдыхали аромат, в котором пробудилась наша любовь. Наконец настал час разлуки, разлуки тем более жестокой, что мы не смели писать друг другу, не имея ответа из Петербурга. Две недели нужно было, чтобы письмо дошло в Петербург и столько же обратно; целый месяц мучительного ожидания стоял перед нами. Из Генуи мы получили несколько строк, написанных его рукой и адресованных Мейендорфу. Затем больше ничего до 5-го февраля.

Несколько дней спустя мы присутствовали, при поступлении монахини, в Канцелиера. Вся в белом, как невеста, она вошла в церковь с родителями, которые подвели ее к алтарю. Священник снял с нее белый венок, приблизилась игуменья с ножницами, и после того, как ее прекрасные локоны усыпали пол, набросила ей на голову черное покрывало. Затем ее вывели через решетчатые ворота. Мы пошли затем через другие ворота во внутренность монастыря и увидели там эту молодую монахиню, лежащей на полу, под надгробным покрывалом. Вокруг нее читали надгробные молитвы все остальные монахини. Из этого мрачного оцепенения нас вывели удары в дверь часовни. Это вызывали нас — прибыл курьер из Петербурга. Как описать ту радость, которую принесло мне письмо Па-

па! Все, что было в нем нежного, было вложено в его пожелания и благословения, только маленькая приписка в конце: «Думай немного еще о твоём Папе, который будет так одинок без тебя», говорила о грусти. В письме к Мама он описывал радость народа и как в Петербурге люди на улице кричали друг другу: «Наша Ольга Николаевна — невеста!» Теперь народная гордость была удовлетворена, после того, как браки обеих моих сестер считались недостаточно достойными для дочерей Императора.

Что мне еще сказать об этих последних неделях в Палермо? Только половина моего существа была еще там. Мейендорф, который жил некоторое время в Штуттгарте, должен был мне рассказывать о городе и стране, которая должна была стать моей новой родиной. Он дал мне книги Уланда, Хауффа и Шваба для чтения и назвал ученых страны. Скоро прибыли письма от Короля, — он писал очень сдержанно, — от будущих невесток Мари и Софи, — которые писали «дорогая кузина...» и от Королевы, которая просто и любовно писала мне: «Ты, дорогая дочь», Письмо Карла прибыло, благодаря несчастливому случаю, последним. С момента, как оно было в моих руках, я стала регулярно вести дневник и посылать каждую неделю ему эти листки. Он делал то же самое и еще теперь, после 36-ти лет брака, мы придерживаемся этого обычая. Мой ответ Королю был написан с помощью Мейендорфа, который, зная его характер, каждое слово взвешивал. В ответном письме моей свекрови, еще непривычный мне немецкий язык, также заставил меня хорошенько подумать.

Наше пребывание в Палермо подходило к концу. Его цель была выполнена, Мама поправилась так, как давно этого уже не было: она прибавила в весе, плечи и руки стали такими полными, что она снова могла показаться с короткими рукавами. Ее веселость росла с силами, которые позволяли ей снова вести ее обычную деятельность. Как я была счастлива быть при ней, как я наслаждалась каждым моментом, в который она еще принадлежала мне!

Весенним днем, — розы и апельсиновые деревья сто-

яли в полном цвету, — мы распрощались с Палермо. Утром я в последний раз стояла у открытого окна, долго смотрела на море, на Монте Пеллегрينو, а затем закрыла глаза, чтобы впитать эту картину в себя.

Улица к гавани была покрыта народом, когда мы по ней спускались. Люди махали с крыш и балконов и показывали таким образом, как они любили Мама, у которой всегда была широкая рука для бедных; она была ласкова с детьми и исполнена приветливости к каждому. Со всех сторон слышались прощальные приветствия: «адио, ностра Императриче!» Тысячи маленьких лодок, шлюпок и пароводиков крутились в гавани и люди с них долго кричали нам вслед благодарные пожелания. Мы были глубоко тронуты таким участием, которое принес нам чужой народ, по собственному желанию.

В Неаполе был официальный прием Двора. Нас встретили пушечным салютом. Король с братьями и большой свитой стоял в гавани в парадной форме. Королева встретила нас в замке; это была бывшая Эрцгерцогиня Тереза, которая, когда-то будучи девушкой, пленила мое детское сердце в Теплице и Праге. Какая прсмена с тех пор! Под влиянием строгого духовника из веселой, любезной девушки она сделалась безжизненной, куклоподобной ханжей. Рассказывали, что этот духовник каждый вечер благословлял супружеское ложе, перед тем как они ложились на него. Королева была крайне озабочена доброй моралью в балете, театрах и моде. Так она предписывала зеленые трико вместо розовых, картины, на которых были видны большие декольте у дам, по распоряжению цензуры, покрывались черной вуалью до подбородка. С церковных кафедр порицали бесстыдную моду, которая обнажает грудь и руки и только черта тешит. Указывали на закутанную одежду Королевы, которая должна была служить примером для каждой женщины страны.

Меня Королева встретила как чужую. Она не протянула мне руки и не говорила мне «ты» как прежде. Король, который знал о нашем старинном знакомстве, пригласил меня, по своему добродушию, после службы в церкви в интимные покои семьи; там, среди сво-

их шести детей, которые доверчиво со мной играли, Королева немного смягчила свою сухость. — С легким сердцем я оставила этот Двор и его неподвижность.

Неаполь мы покинули на пароходе и после 28-часового путешествия прибыли в Ливорно. Там нас встретил русский консул и проводил в отель, где нам сейчас же вручили два письма. Одно извещало Мама о смерти ее горячо любимой тети Марьянны. Это было ужасным для нее ударом. Другое же, — прости мне, Боже, мою радость в такую минуту, принесло мне неожиданную весть, что мой Карл на следующий день прибудет в Ливорно.

Во время дальнейшего путешествия, мы проехали мимо Пизы, мимо кривой башни Кампо-Санто, но я едва смотрела на все это — мой Карл был со мной и я видела только его. Во Флоренции он жил в том-же отеле, что и мы. Отель этот стоял на берегу Арно, против палаццо Липона (собственность бывшей королевы Каролины Мюрат), его сад спускался к самому берегу и наш балкон отражался в воде. Весна во Флоренции, ее цветение, ее сияющие дни, приносили радость за радостью. Наши комнаты были заполнены цветами и на торжественные вечера великогерцогского Двора в Тоскане я украшала себя живыми цветами. Герцогиня, вторая жена Великого Герцога Леопольда и сестра Короля Неаполитанского, была замечательной женщиной. Она жила только для своего мужа и детей, в почти обывательском счастье. Замечательные сокровища искусства, которые окружали ее и заполняли ее каждодневную жизнь, представляли разительный контраст с этим.

Над постелью Герцогини висела Мадонна дель Грандича Рафаэля, на столе во время торжественных приемов лежали ножи, вилки и ложки, а также стояли сосуды из мастерской Бенвенуто Челлини, когда подымались из-за стола, то шли в салоны галереи Питти, самой прекрасной в Италии, картины которой собирались в течение веков любящими искусство владельцами страны и основоположниками которой были Медици. Я прекрасно запомнила поездку в Поджио а Чаяно, загородный дворец Лоренцо Прекрасного, примерно

в двух часах езды от Флоренции. Серебряный свет Тосканы разливается над зелеными холмами в долину Омброне, реки, которая с востока втекает в Арно. Сам замок стоит высоко над берегом реки, смотрит на зеленые купы деревьев и над ним господствует божественная тишина. Там, у наших любезных хозяев, я впервые поняла тихую радость этого цветущего уголка, который так хорошо управляется, обложен минимальными налогами и народ которого с доверчивостью смотрит на своего Государя, совсем по другому, чем в Неаполе-Сицилии, где его давят, угнетают налоги и произвол. Здесь все дышало миром, доверием и прочностью. И все же: три года спустя здесь была революция и семья Властелина бежала в изгнание.

Я не буду описывать наши посещения церквей, дворцов и монастырей Флоренции, они все очень хорошо известны, я же сама в то время была еще незрелой и неуверенной в том новом, что мне встречалось, чтобы дать направление моему вкусу. Карл провел целую зиму во Флоренции, благодаря чему его вкусы и взгляды были уже увереннее, он любил предшественников Рафаэля и свел меня к картинам Фра Анжелико, чтобы я тоже полюбила их. Я смотрела на все его глазами и слушала его в упоении; но предстоящая большая перемена в моей жизни занимала меня слишком, для того чтобы у меня сохранились ясные воспоминания и впечатления. Тогда мне казалось более важным и значительным узнать характер и натуру Карла. Его детство не было счастливым: родители жили безо всякой внутренней гармонии между собой. Он вырос одиноким и его потребность в ласке была очень велика. Он любил разговаривать со мной во время одиноких прогулок в саду, по берегу Арно. Когда я сидела в комнате с работой в руках, он быстро становился нетерпеливым; это напоминало ему совместные семейные вечера дома, где мать и сестры молча сидели за своей работой, дрожа заранее от придирок Короля. Когда он узнал, что день моего рождения по заграничному исчислению приходится на 11-ое сентября, он воскликнул: «О, он лежит, как раз, между днями рождений моих родителей! Это может значить, что тебе суждено

стать соединяющим звеном между обоими» Он разгадал мою натуру и указал мне таким образом направление моего пути.

21-го апреля мы покинули Флоренцию и ехали короткими дневными этапами через Болонью и Падую, в Венецию. Там мы провели еще целую неделю и там же было решено, что наша свадьба состоится 1-го июля. Доктор Мандт считал, что здоровье Мама настолько окрепло, что ей незачем ехать в Бад-Эмс или Шлангенбад, а можно непосредственно возвращаться в Петербург. Перед этим, была еще намечена встреча в Зальцбурге с Королем и Королевой Вюртембергскими. Во время поездки по Ломбардии, погода изменилась, начал идти дождь, и когда мы прибыли в Триент, поднялась сильнейшая гроза. В несколько часов, ручьи, стекавшие с гор, залили дорогу и мы не могли проехать дальше. Генерал Врбна, сопровождавший нас через Австрию, поехал вперед, чтобы устроить нам квартиры. Когда он узнал о наводнении, то пересел из экипажа в лодку, чтобы возвратиться к нам. Мы должны были три дня ожидать в Триенте. Источник многих неприятностей для путешественников, это наводнение только радовало нас, жениха и невесту, и на каждое приключение мы смотрели, как на приятное развлечение. Каждое утро, во время завтрака, Карл читал нам «Лихтенштейна» Гауффа и каждый вечер мы шли в театр, примыкавший непосредственно ко двору нашего отеля. Деревенская публика ела в антрактах апельсины и сыпала их корки тут же на пол. Актеры, не менее естественные, чем публика, вызывали у нас своей игрой гомерический хохот.

Суровым показался мне въезд в горы Тироля. Сицева Сицилии, серебряный отсвет Тосканы, были ли они наяву? Было ли счастье только сном, а действительность пробуждением, которое разгоняло его? Холм проник в мое сердце. Первую ночь в горах мы провели в монастыре Св. Иоанна, окруженном со всех сторон горами, безо всякого вида на окрестности, а над нами снежные вершины, освещенные заходящим солнцем. Последние лучи окрасили их розовым пламенем. Красиво, но какой тоской повеяло на меня от этого

впервые виденного горения Альп: момент блеска, триумфа — затем молчание, ночь, потухание навеки. Горы и мрачные леса давили на мое сердце и от этого впечатления я не забывалась на всю жизнь. Дитя равнины, я ношу в себе желание видеть большие пространства; море, зеркало дальних вод дает мне радость и легкое дыхание.

В Зальцбург мы прибыли рано пополудни. Мама, боясь натянутости официального представления, решила импровизировать встречу с Королем и Королевой Вюртембергскими. Она приказала экипажу попросту остановиться у отеля, где жила Королевская Семья. Первая встреча произошла в полутьме вестибюля. Затем сели большим обществом за круглый стол. Я была так взволнована, что боялась задохнуться. Карл пожал мне руку, Король смотрел на меня поблекшими глазами с любопытством. На следующий день этот взгляд стал более благосклонным. Он был недоволен сюрпризом встречи и винил Карла в том, что он не известил его о намерении Мама. Таким образом его настроение не было блестящим. Милая, добрая Королева, которая знала все выражения его лица, казалось, ожидала грозы и была совершенно сконфужена. Карл скоро вывел меня из этого круга в комнату своей младшей сестры Августы. Как раз в это время, она стояла перед зеркалом и прикрепляла брошку к своему лифу. Карл схватил ее за плечи и быстро повернул, так что мы оказались лицом к лицу, друг перед другом. Она вскрикнула от неожиданности и бросилась мне на шею. Я облегченно вздохнула — лед растаял.

На следующий день была чудесная погода и мы поехали на прогулку. Мама с Королевой и Августой, я с Карлом и Королем, в экипаже последнего. Манеры Короля напоминали прошлое столетие, тон, которым он обращался ко мне, был скорее галантным, чем сердечным, его разговоры любезны, подчас даже захватывающи, но всегда так, точно он говорил с какой-либо чужой Принцессой, никогда ни слова, могущего прозвучать сердечно или интимно, и никогда ничего о нашем будущем. Казалось, он избегал всего, что могло вызвать атмосферу непринужденной сердечности. Та-



кое поведение казалось мне, с детства привыкшей к свободе и откровенности, совершенно непонятым и мое сердце сжималось от мысли, что мне придется жить под одним кровом с человеком, который был мне непонятен и чужд. И все же, как Государь, самый старший среди немецких князей, он считался самым способным. Он был просвещенных либеральных взглядов и дал своей стране конституцию задолго до того, как она была проведена в других странах. Он правил страной 30 лет и это было счастливым для нее периодом. Все это я уже знала до встречи с ним и старалась теперь думать об этом, чтобы увеличить хотя бы мое уважение к нему, раз сердце для него молчало. И это уважение стало почвой для всех моих, последующих с ним отношений. Я ему обязана многим, он научил меня выражаться точно и вдумчиво, что было необходимо, например, при передаче ему моих бесед с нашим послом в Штуттгарте Горчаковым, для которого я служила как-бы рупором в его сношениях с Королем.

Но вернемся в Зальцбург. Королева расспрашивала обо мне Анну Алексеевну и обещала ей, что будет относиться ко мне, как к своей дочери. Она сдержала свое слово и относилась ко мне всегда с большой добротой, несмотря на все старания, которые делались, чтобы поссорить нас. Ее лицо носило следы былой красоты, щеки были розовыми и свежими, и когда она улыбалась, были видны два ряда белоснежных безупречных зубов, которые она сохранила до глубокой старости. Ее волосы в то время тоже были еще совсем темными. Но фигура у нее была тяжеловатой, без грации и гибкости, хотя вся внешность ее не была лишена спокойной величавости. Разговоры, на балах и приемах, она вела несколько однообразные и не ставила никаких требований по отношению своих собеседников. Распорядок дня ее был строго урегулирован, она боялась движений и перемен и была бы для человека с обывательскими привычками идеальной женой. Противоположность ее натуры с натурой Королевы Екатерины Павловны, первой жены Короля Вильгельма Вюртембергского и сестры Папа, женщины во всех отношениях недюженной, делало то, что Король бывал

часто несправедлив и придирчив к ней. Она-же, будучи по природе безобидной и доброй, не могла играть никакой роли в политике. Она была прекрасной рукодельницей, но совсем не могла отражать насмешек или понимать иронию и сейчас же, как улитка, уходила в свой домик, откуда потом с трудом только выбиралась. Ко мне она была прекрасна и я не могу себе представить лучшую свекровь. Она никогда не вмешивалась в нашу жизнь и порядок нашего Двора. Она не знала ревности и не ставила никаких требований. Мне она была благодарна за каждую мелочь и каждое внимание, которое я ей оказывала.

Совместная жизнь в Зальцбурге подходила к концу, Карл и его семья поехали через Мюнхен в Штуттгарт, а мы, в конце мая, в Линц, куда нас просила приехать милая Императрица Мария-Анна, чтобы заверить нас в своей дружбе и симпатии. С разных сторон делались попытки помешать этой встрече, но Мама слушалась только своего сердца, тем более что у нас совсем не было причин избегать ее. После первых же слов приветствия, Императрица заговорила о переговорах, которые постоянно начинались из-за меня. Она с жаром заверила, как она лично была бы счастлива иметь меня своей родственницей, тем более что полюбила меня с первой встречи в свое время в Теплице. Мама же заметила, что не стоит теперь говорить о прошлом. Императрица подарила мне парадное платье из богемских кружев на розовом шелку. Мама выбрала от приехавших из Вены ювелиров и представителей модных домов разные красивые вещи для моего приданого, которые до краев заполнили наши чемоданы. Их затянули ремнями и закрыв привязали к экипажам, чтобы уже не открывать до Петербурга.

Наш дальнейший путь лежал через Прагу, где прожил Эрцгерцог Стефан, который хотел нас встретить. Наша встреча произошла на Градчане. Как я была заинтересована наконец-то увидеть героя моих мечтаний наяву! Наверное и он испытывал то же чувство, только с той разницей, что мне удалось наконец встретить человека, которого искало мое сердце, в то время, как он еще должен был продолжать искать. Хотел

ли он вызвать во мне сожаление к неудачной судьбе? Если да, то он сделал это очень неумело. Его манера держаться казалась мне неестественной, возможно, что его разговор и заинтересовал бы меня, если бы он не старался все время выдвигать себя в возможно выгодном свете. Он был полной противоположностью Эрцгерцогу Альбрехту, которого мы еще раз встретили в Зальцбурге и простота и естественность которого опять были нам так приятны. Чувствовалось, что Стефан очень честолюбив и очень доволен собой.

Из Праги поезд повез нас, через бесчисленные туннели, в Брюнн и Краков и наконец в Варшаве Папа заключил нас в объятия. Он не переставая смотрел на меня и в его глазах я замечала грусть от предстоящей разлуки. Когда я вновь ступила на родную землю, я с силой ощутила то чувство, которое вызывает Отечество, и я поняла, почему Господу было угодно завести меня так далеко от всего Родного, чтобы ничем неестественной сделать выбор сердца. Наконец 3-го июня мы приехали в Петергоф. Была чудесная погода и мы тотчас же пошли в церковь, двери которой были широко открыты. После молебна перед церковью была радостная встреча с Мари и братьями, родственниками и друзьями. Мы обменивались поздравлениями, оттого что многие из моих подруг стали невестами. Каким радостным, каким сердечным было все вокруг! Все встречали меня так ласково, все старались сделать мне приятное, всячески доказать свою любовь. Еще теперь, когда я пишу это, я с волнением вспоминаю все эти трогательные проявления любви и дружбы. И все же в эти недели я чувствовала какую-то внутреннюю разорванность, покуда не приехал Карл; я ощущала, что не принадлежу больше родителям, друзьям и Родине и казалась себе неблагодарной, оттого что Карл значил для меня теперь больше.

Карл прибыл в день начала маневров кадетских корпусов. В гавани его встретил Папа и все четыре брата. Сейчас же после обеда, вместо того, чтобы дать ему время отдохнуть, его посадили на коня и галопом поскакали в Стрельну на маневры. Нам, дамам, было приказано часом позднее следовать в экипажах. В

Стрельне, на даче одной знакомой, мы встретились с кавалерами, чтобы выпить вместе чай. После чая, моему жениху было разрешено возвращаться с нами в экипаже. В одиннадцать часов мы поужинали в комнатах у Мама. Мы ни минуты еще не оставались с глазу на глаз и Сесиль Фредерикс с участием заметила: «Ну, и уютная встреча для жениха с невестой!»

Вскоре Карл был совершенно захвачен личностью Папа. Сияющая беспорочность его существа, отеческая симпатия, с которой он относился к Карлу, завоевали целиком его сердце. Он благодарно относился ко всем советам, которые давал ему Папа, оттого что от своего собственного отца никогда не слышал ничего иного, как только критику и неприязненные слова.

25-го июня была торжественная помолвка в Петергофской церкви, а свадьба была назначена на 1-ое июля, день рождения Мама и одновременно день свадьбы родителей. Это число должно было принести нам счастье! Последние дни перед этим торжественным днем были заполнены суетой. Я проводила их в примерках платьев, в выборе и раздаче сувениров и подарков, в упаковке и прощальных аудиенциях, я не принадлежала больше сама себе. С трудом мне удалось выбрать день для поста и молитвы, чтобы пойти к исповеди и причаститься в церкви Св. Петра и Павла 29-го июня. Там я просила Господа только об одном: сделать меня достойной того, с кем я буду делить свою жизнь и выполнить обязанности, которые ждали меня. Родители и братья были при этом моем последнем Причастии девушкой в церкви и, конечно, также и Карл, присутствие которого еще больше углубило мое благоговение. В моей комнате Карл встретился потом с моим духовником отцом Бажановым и попросил его объяснить ему обычаи нашей церкви. 30-го июня, согласно своему обещанию — присутствовать на моей свадьбе, прибыл дядя Вильгельм Принц Прусский. Наша дружба относилась еще к совместному пребыванию в Эмсе, в 1840 году. Также дружественно он относился и к Карлу, который с 1840 по 1842 год был в университете в Берлине и часто посещал те круги, которые собирала вокруг себя Принцесса Августа. К ее кругу

принадлежали в то время такие умы как Ранке, Савиньи, Курциус и другие.

Когда я вечером 30 июня поднялась в последний раз в свою комнатку, я долго не могла заснуть. Я позвала Анну Алексеевну и мы долго говорили на моем балконе.

После полуночи Папа постучался в мою дверь: «Как, вы все еще не спите?» Он обнял меня, мы вместе опустились на колени, чтобы помолиться и потом он благословил меня. Как он был нежен ко мне! Какой бесконечной любовью звучали его слова! Потом он поблагодарил Анну Алексеевну за все, что она сделала для меня во время нашего десятилетнего совместного пребывания. В дверях он еще раз повернулся ко мне и сказал: «Будь Карлу тем же, чем все эти годы была для меня Мама!».

Наступил торжественный день. Уже рано утром нас разбудили трубачи под окнами. Я поспешила к Мама, чтобы поздравить ее и передать мои подарки. Я подарила ей медальон с моей миниатюрой и маленький секретэр из орехового дерева с сиреневым бархатом. Она пользовалась им до самой смерти и держала в нем свои частные бумаги: и после ее смерти там нашли ее духовное завещание.

У Мама собралась вся семья, нехватало только Карла, которого по русскому обычаю я не могла видеть в день своей свадьбы, до церкви. Богослужение было назначено на 11 часов утра, затем меня должны были одеть в Большом Дворце в наряд невесты, и в час дня начинались свадебные церемонии. Утром я должна была подписать Отречение, как это полагается в нашем Законе. Его подписывает каждая Великая Княжна перед своим браком. Затем Адлерберг, который в то время был Министром Двора, поднес Анне Алексеевне розетку ордена Св. Екатерины. В Орлином Салоне Большого Дворца меня ждал наряд. Я действовала как в тумане, я не помню больше ничего до момента как в салон вошел Карл и Папа сказал ему: «Дай ей руку!» Все вышли, мы опустились на колени перед иконой, которой нас благословили родители. За-

тем на мои плечи прикололи тяжелую великокняжескую мантию, которую несли восемь камергеров, но конец шлейфа подхватил мой гофмаршал граф Бобринский и, шепнув мне тихо: «С Богом!», отчески тепло посмотрел на меня. Шествие тронулось. Сначала шли камер-юнкеры, затем камергеры, за ними статские сановники и наконец обергофмаршал граф Шувалов, предшествовавший Императорской Чете и всему семейству. Прошли шестнадцать зал и галерей Дворца. В церкви собрался весь Дипломатический Корпус. При входе Мама обменяла наши обручальные кольца, которые мы носили уже с помолвки; после этого Папа подвел нас к алтарю. Чудесные песнопения нашей церкви точно созданы для того, чтобы пробудить в сердце чувства счастья и благодарной радости и заставляют забыть всю грусть и заботы. Потом мне говорили, что редко видели невесту такой сияющей.

После православной свадьбы, мы, тем же порядком, проследовали в лютеранскую часовню, которая была устроена в одной из дворцовых комнат. Мы стали на колени на скамейку и пастор произнес короткую, но очень чувствительную речь. Принц Гогенлоэ-Эринген стоял, как представитель Короля, подле нас.

Весь этот день, заполненный церемониями, казался мне бесконечным. Наконец, вечером нас торжественно отвели в наши будущие апартаменты, где нас встретили Саша и Мари с хлебом-солью. Тяжелое серебряное парчевое платье, а также корону и ожерелье, сняли с меня и я надела легкое шелковое платье с кружевной мантильей, а также чепчик с розовыми лентами, оттого что теперь я была замужем!

После этого, мы ужинали в тесном семейном кругу, все были в прекрасном настроении и только в полночь стали расходиться. Папа еще раз благословил меня. Мама же отвела меня в спальню и покинула только тогда, когда в комнату вошел Карл.

.....

На этом заканчиваются мои воспоминания юности. После замужества начинается совсем иная жизнь, жизнь, к которой примешиваются также и горькие воспоминания, несмотря на счастье домашнего очага. Поэтому мне кажется разумным не тревожить и не будить их! Хорошие, как и плохие, дни нашей жизни формируют наш характер. Не стать озлобленным, чтить тех, которых мы не можем любить, на зло отвечать добром, и сохранить в себе чувство независимости, спокойствия и благосклонности — это было то, что я всегда старалась исполнить.

Записать воспоминания моей юности было для меня благодетельным развлечением; они помогли мне прожить два года моей жизни, которые были самыми мучительными для меня и заполнены болью душевной и телесной, от ударов, которые один за другим, рушились на меня. По мере того, как я писала, я снова переживала годы моей молодости, когда все казалось мне прекрасным и точно пронизанным небесным светом. Я от души желаю, чтобы мои горячо любимые внучатные племянницы Ольга и Эльза, были бы так же счастливы в своем детстве и своей молодости, как была я, чтобы иметь из этой сокровищницы воспоминаний столько же радости и утешения, как имела в старости я.





